

АНДРЕЙ АНИКИН

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Другъ мой, братъ мой, усталый,
Что-бъ ты ни былъ, не падай!
Въ этой неправдѣ и злое полно,
Омытой слезами земли
Разбитъ и поруганъ,
Сидитъ невинная крѣпко,
Вѣдетъ пора...

Нелѣзъ полъ
Сидитъ невинная
Разбитъ и поруганъ
Омытой слезами земли
Въ этой неправдѣ и злое полно
Что-бъ ты ни былъ, не падай
Другъ мой, братъ мой, усталый



**БИБЛИОТЕКА
СОВЕТСКОЙ
ФАНТАСТИКИ**

вѣстнаго швейцарскаго хирурга Кохера. Н
Послѣдніе два года Надсонъ провелъ
въ Подольской губерніи, частью н
тьною болѣзнію. Мысль о смер
ность стихотвореній, успѣвши
исужденная ему Академіе
ю января 1887 г. его
ю февраля при мног
кладбищѣ. нелѣ



БИБЛИОТЕКА СОВЕТСКОЙ ФАНТАСТИКИ

АНДРЕЙ АНИКИН

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Историко-фантастические повести



МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“
1988

ББК 84Р7
А 67

Аникин А. В.

А 67 Вторая жизнь : Историко-фантаст. повести / Предисл. Е. Парнова. — М. : Мол. гвардия, 1988. — 192 с., ил. — (Б-ка сов. фантастики).

ISBN 5-235-00607-0

В повестях и рассказах, вошедших в книгу, нет странствий во Вселенной или человекоподобных роботов. Автор исследует возможные варианты известных исторических событий, в увлекательной форме повествует о проблемах многовариантности истории и роли личности в ней, детерминированности действий людей и свободе воли, моральном облике власти. Автор известен своими научно-художественными и научно-популярными работами по экономике и истории.

А 4702010200—302 144—88
078(02)—88

ББК 84Р7

ISBN 5-235-00607-0

© Издательство
«Молодая
гвардия»,
1988 г.

О КНИГЕ АНДРЕЯ АНИКИНА «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»

Враг вступает в город,
Пленных не щадя,
Оттого, что в кузнице
Не было гвоздя.

Маршаку в полной мере удалось донести парадоксальную афористичность английской баллады, что так редко случается в переводах. Какая цепь выстроилась из людских судеб, слагающихся в судьбу целого государства! И все из-за ничтожного гвоздика для подковы. А если бы он все же нашелся где-нибудь под лавкой, у наковальни или возле горна? Неужели все бы волшебным образом переменялось, словно на киноленте, запущенной в противоположную сторону? Так ли уж однозначно запрограммирована неизбежность в этой роковой последовательности, где любое звено — всего лишь случайность? Рей Брэдбери («И грянул гром») ответил на этот вечный вопрос утвердительно. Раздавленный в доисторическую эпоху мотылек наложил властный отпечаток уже на весь облик мира. Такова цена мелочи, умноженной в запутанных петлях мировых линий. В следах во времени и пространстве.

В необратимости времени мы убеждаемся еще в колыбели, сложив свою первую в жизни игрушку. В сущности, это серьезный философский урок, всю значимость которого едва ли дано постигнуть человеку. Необратимость времени, непостижимость сплетения причин и следствий, невозвратимость самой жизни. Воистину роковая неизбежность, которая выстраивается за каждым поступком, решением, словом. Если как следует вдуматься, то за всем этим угадывается полнейшая безнадежность. Мы не слишком часто задумываемся над подобными вещами. Часы отстукивают секунды, а нам кажется, что вокруг ничего не меняется. Мы словно бы сами по себе, вне общей связи. В этом и наше счастье, и наша беда. Беда потому, что ответственное отношение к каждому мгновению жизни избавило бы нас завтра от многих, причем совершенно ненужных осложнений. Но так уж устроен человек, что, зная о конечности всего, он живет ощущением вечности. Хоть и говорят, что время — деньги. Мы не вольны, подобно скупцу, сидеть над своим сокровищем, приберегая на черный день. Мы даже над собственной мыслью не властны, ибо постоянное сосредоточение на одном — верный путь к сумасшедшему дому. Вот и тает непостижимое уму сокровище, вне зависимости от того, помним мы о нем или нет, активно действуем или созерцаем. Впрочем, мысль в отличие от времени более, скажем так, пластична. Ударяясь в воспоминания, мы как бы вырываемся из жестких тенет необратимости и отправляемся в

удивительное путешествие против «стрелы времени». Есть такое сравнение у физика Эддингтона.

И хоть заранее известно, что ни при каких условиях нам не перенграть ни собственную жизнь, ни историю, в подобном эксперименте таится неизъяснимая прелесть. Кроме того, он весьма поучителен. Если, конечно, соблюсти необходимые для любого научного опыта условия. «Машина времени» Уэллса, «Смирительная рубашка» Джека Лондона, «Между двумя мирами» Финнея — знакомые всем, блистательные примеры подобных опытов. Теория относительности накладывает запрет на путешествие в прошлое. Статистическая физика также делает его практически невероятным, хотя для отдельной элементарной частицы подобного ограничения формально не существует.

Однако вопреки всему научная фантастика продолжает упорно эксплуатировать несбыточную мечту. И всякий раз с различными целями. И на то есть несколько важных причин. Во-первых, и одного этого было бы достаточно, нет более крепкого оселка для мысли, чем такие проблемы. Во-вторых, и на этом закончим обоснования, мысленная переоценка давным-давно разыгранных на подмостках истории сцен оказывается действенным средством анализа.

В самом деле. Разве не любопытно было бы проследить, как могла бы сложиться история, если бы Колумб все-таки не получил своих каравелл? Ответ, казалось бы, очевиден. Пусть не Колумб, но какой-нибудь другой отважный мореплаватель всё равно бы «открыл» Новый Свет. А если кто-то другой, то опять же естественно спросить, кто именно? И как бы могла сложиться его судьба? И в какие бы формы вылилась конкиста и все последующие события? Или возьмем Юлия Цезаря. Разве так уж предначертано было ему перейти Рубикон? Количество подобных предположений не знает предела. И любой годится для увлекательного эксперимента. Собственно, именно этому и посвятил свои вещи Андрей Аникин.

Так, в повести «Смерть в Дрездене», построенной по канонам рас пространенного в конце XVIII — начале XIX века романа в письмах, перед читателем стоит все тот же вопрос: «Что было бы, если бы...»

Да, что было бы, если бы в конце мая 1812 года Наполеон Бонапарт умер? Ведь мог же император поехать на охоту и погнаться за зайцем? И лошадь его могла споткнуться и сбросить седока? В итоге случайно оказавшийся камень (как тут не вспомнить гвоздь от подковы?) мог радикальнейшим образом переменить последовательность и сам результат многих политических деяний. Да и сами деяния тоже.

Однако автор, уповая втайне на некую историческую логику, выстраивает свою схему. Подготовленную для перехода через Неман полумиллионную армию возглавил принц Евгений Богарнэ, пасынок императора, и поход состоялся. Причем протекал по известному

нам образцу: взятие Смоленска, Бородино, пожар Москвы и последующее бегство. Могло так все сложиться? Вполне вероятно, хотя (бабочка Брэдли не дает покоя) мыслятся десятки иных, не менее интересных возможностей. Но произведение судят по законам, предложенным автором. Предложенная нам эпистолярная стилизация по-своему убедительна, безусловно, имеет право на существование (речь ведь идет всего лишь о предположении, игре, так сказать, ума), а то обстоятельство, что предпринятый эксперимент будит читательское воображение и толкает на контрверсии, лишь придает занимательность.

Повести «Вторая жизнь», «Друг, который мог быть», по сути, рождены тем же исходным принципом «вариантности» человеческой жизни. Будь то некая двойная судьба в разных, хотя и достаточно близких, эпохах, как бы параллельное существование в двух временах («Вторая жизнь»), или домысленный вариант продолжения одной жизни («Друг, который мог быть»).

Герой «Второй жизни» впервые предстает перед читателем мелким чиновником времен первой мировой войны. Колеблясь между жизнью и смертью, он испытывает некое раздвоение, осознавая себя совсем другим человеком, рожденным в 1813 году. Так появляются заявленные автором «Эн-прим» и «Эн-два», чьи судьбы, не пересекаясь, но чередуясь, последовательно проходят перед читателем. Внимательно проследим за всем ходом эксперимента, и нам станет совершенно ясно, что побудительная причина его не столько исторически-познавательная, сколько нравственная. Это исследование человеческой души сквозь двойную призму времен. Прием для литературы не новый, но благодарный, позволяющий эффективно проследить как светлые, так и темные стороны. И в том, что на сей раз в качестве главного персонажа выступает не император французов, а лицо вымышленное, то есть в полном смысле слова «литературный герой», я вижу несомненное достоинство произведения. Эта выдуманная двойная судьба вызывает у меня и большее доверие, и больший интерес. Не пытаюсь оспорить право автора на эксперимент с Наполеоном, все же замечу, что к области собственно литературы ближе жизнеописание двуединного «Эн»-Никонова. Такова уж сверхреальность искусства.

Примерно то же могу сказать и о «Друге, который мог быть». Здесь расщепление повествовательного пласта во времени ограничено сравнительно небольшим промежутком — около шести лет. Но какие годы он разделяет! Какие эпохи! Судьбу, оборванную в самом расцвете, и судьбу, которая могла бы сложиться, если бы не война. Тоже интересный метод анализа. Продолжение биографии как бы невидимой с незаметным переходом в заведомо вымышленную, но столь же достоверную, ибо в обоих случаях речь идет о литературном герое.

Еремей Парнов

СМЕРТЬ В ДРЕЗДЕНЕ

Не говорите: *иначе нельзя было быть*. Коли было бы это правда, то историк был бы астроном, и события жизни человечества были бы предсказаны в календарях, как и затмения солнечные.

Пушкин

Всякий раз, когда являлись завоеватели, были и войны, но это не доказывает, чтобы завоеватели были причинами войн и чтобы возможно было найти законы войны в личной деятельности одного человека.

Лев Толстой

ПРЕДИСЛОВИЕ

Искусство обычно не требует объяснений от автора. Читайте, смотрите, слушайте — и судите сами...

Но жанр этой повести заставляет написать предисловие. Здесь оно входит в текст органической частью, как в драме — список действующих лиц и авторские ре-марки.

Читатель должен помнить следующее. События до 28 мая 1812 года (нового стиля), до дня, с которого начинается рассказ, — суть исторические факты. Начиная с этого дня, события имеют вероятностный характер. В двух вариантах рассказывается — *что было бы, если бы...* Если бы произошла та случайность, которая всегда возможна. Это — крайние варианты. Может быть, читателю покажется, что наиболее вероятным было бы развитие событий, лежащее где-то между ними.

Пять вымышленных персонажей должны быть представлены читателю.

Жак Шасс, 35 лет. Из семьи парижского мебельщика среднего достатка. Капитан французской армии, сотрудник историографического отдела генерального штаба.

Марк Шасс, около 40 лет, его брат. Человек без определенных занятий, в прошлом крайний якобинец.

Шарль Леблан, около 60 лет. Профессор древней истории, в свое время член революционного Конвента.

Николай Истомин, 24 года. Русский дворянин хорошего рода, но с расстроенным состоянием. Служит в комиссии составления законов при государственной канцелярии.

Ольга Истомина, 19 лет, его сестра.

Историческая повесть не может обойтись без исторических лиц. Чтобы читателю не приходилось листать энциклопедии, автор дает краткую справку.

Жозеф (Иосиф) Бонапарт — старший брат императора, посаженный им на королевский трон Испании. По известным отзывам самого Наполеона, человек тщеславный, но бездарный. Наверняка именно таких членов клана Бонапартов имел в виду Стендаль, когда писал: «Для Наполеона было бы гораздо лучше не иметь семьи».

Маршал Бертье, он же владетельный князь Невшательский и князь де Ваграм. Бессменный начальник штаба Наполеона, безупречный исполнитель его воли.

Маршал Даву, он же князь д'Экмюль. По мнению многих историков, один из лучших полководцев Наполеона. В войну 1812 года командовал первым корпусом, составлявшим ядро армии. Солдат до мозга костей, человек суровый и жестокий.

Коленкур, он же герцог де Виченца. Генерал и дипломат, один из самых близких к императору людей. Несколько лет был французским послом в Петербурге.

Маре, он же герцог де Бассано, в 1812 году — министр иностранных дел. Фаворит Наполеона и весьма влиятельная фигура. Многие считали его ловким, но недалеким человеком. Талейран говорил: «Я знаю лишь одного человека, который столь же глуп, как герцог Бассано; это — Маре».

Талейран, он же князь Беневентский, — одна из са-

мых ярких фигур эпохи, не страдавшей отсутствием таких фигур. Тонкий политик, многолетний сподвижник Наполеона. В 1812 году был в немилости и в отставке.

Евгений Богарнэ, принц империи, пасынок Наполеона. См.: Вариант второй, документ № 2.

Михаил Михайлович Сперанский — «русский реформатор», попович, человек безродный, в 1810—1812 годах государственный секретарь — своего рода первый министр Александра I. В марте 1812 года отставлен от дел и сослан в Нижний Новгород, а затем в Пермь. По словам Чернышевского, он «действительно был приверженцем той политической системы, которая преобразовала Францию, которая провозглашала равноправность всех граждан и отменяла средневековое устройство». Впрочем, ни на самодержавие, ни на крепостное право Сперанский прямо не покушался.

Князь Александр Борисович Куракин — русский посол во Франции. Был «парадным послом», за спиной которого подлинную дипломатию делали доверенные люди царя и Сперанского.

Граф Федор Васильевич Ростопчин — главнокомандующий в Москве, то есть лицо, в чьих руках при чрезвычайном положении 1812 года находилась военная и гражданская власть в Москве и Московской губернии.

Нас не должна удивлять эта толпа герцогов, князей и графов. Такова была эпоха. Чем дальше уходил Наполеон от генерала революции, тем большее пристрастие к титулам он приобретал. К 1812 году стало немыслимо быть приближенным к его двору и не иметь, на худой конец, титула барона империи.

Русская знать разного происхождения (допетровского, петровского, екатерининского) заполняла высшие ярусы военной и гражданской службы. Возвышение Сперанского было сенсационным исключением.

Все знают в общих чертах, как *фактически* развернулись события в 1812 году. Напомню лишь несколько ключевых фактов и дат.

29 мая Наполеон выехал из столицы вассального Саксонского королевства Дрездена к войскам и 24 июня перешел во главе «великой армии» границу России. Русские армии с боями отходили. 18 августа был оставлен Смоленск. 7 сентября — Бородинская битва. Чтобы сохранить армию, Кутузов 14 сентября оставил Москву. Не получив желаемого мира, Наполеон 19 октября вышел из сожженного и разоренного города. Отступление скоро превратилось в бегство и завершилось полным разгромом французов.

В конце октября в Париже республиканский генерал Мале и несколько его сподвижников сделали попытку государственного переворота. Они были схвачены и расстреляны. Известие о заговоре застало Наполеона близ Смоленска. 5 декабря он покинул обломки «великой армии» на произвол судьбы и помчался в Париж. Его сопровождал Коленкур. Командование войсками Наполеон передал неаполитанскому королю маршалу Мюрату, который вскоре самовольно оставил свой пост, «назначив» на него пасынка императора Евгения Богарнэ.

В последние дни года русские вышли к границе. 2 января 1813 года был прочитан по войскам приказ Кутузова, начинавшийся словами: «Храбрые и победоносные войска! Наконец вы на границе империи. Каждый из вас есть спаситель отечества. Россия приветствует вас сим именем».

Два слова о Таците. Кто такой Корнелий Тацит? Древнеримский историк. Почему составляет он как бы второй план повести?

В начале XIX века Тацит был живой фигурой. О нем спорили, им вдохновлялись, его клеймили. Наполеон воспринимал тираноборство Тацита как личную обиду.

Декабристы видели в нем борца против деспотизма. «Мне кажется, что из всех римлян писавших один Тацит необъятно велик», — сказал молодой Герцен.

Надо ли говорить, что документы и письма, из которых состоит повесть, вымышлены? Они таковы, какими

могли быть, *если бы* случилось предположенное. В тех случаях, где используются подлинные документы, они выделяются курсивом. Новый стиль календаря опережает старый на 12 дней. Если это особо не указано, имеется в виду новый стиль.

Что было бы, если бы... Нетрудно привести народные присловья насчет пустоты этого вопроса. Но все дело в том, как и для какой цели его поставить. Может быть, он не так уж и пуст...

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ

1. Жак Шасс — Леблану в Париж

Дрезден, конец мая 1812 г.

Мой дорогой учитель! Страшная весть уже, конечно, достигнет вас, когда вы получите мое письмо. Я почти присутствовал при катастрофе. На моих глазах император выехал на эту роковую охоту, и на моих глазах его привезли в придворной карете с пробитой головой, еще живого, но без сознания. Он умер через два часа, не приходя в себя. О, какие это были часы! Итак, заяц, бросившийся под ноги императорской лошади, и большой камень у дороги меняют судьбы Франции и всего мира.

Слова не могут выразить горе и тревогу, которые обуевают меня. Я знаю: в последние годы вы испытывали все больше сомнений насчет императора и его действий. Порой я разделял эти сомнения. Ваш ученик не может верить слепо. Вы учили меня смотреть на все при безжалостном свете разума, и уроки эти не пропали даром.

Но вы же учили меня не подчиняться вашим мнениям, если они противоречат моим убеждениям. Я хорошо помню наши многочасовые споры в вашем уютном кабинете. Как я хотел бы сейчас оказаться там! Вы говорили: Бонапарт погубил революцию. Я отвечал: он спас Францию. Вы говорили: он возродил деспотизм. Я возражал: иначе было невозможно избавить родину от бан-

ды предателей и взяточников, которые истинно погубили революцию.

Но что значат наши споры теперь, перед его гробом?

Через несколько дней гроб этот начнет свой траурный путь в Париж. Две недели назад император, полный жизни и мощи, промчался этой дорогой через Германию. Тысячи людей сбегались к дороге, чтобы только взглянуть на человека, чья слава затмила славу Юлия Цезаря и Александра Великого.

Что будет с нами, с империей, с Францией? Годовалый ребенок провозглашен императором, при регентстве императрицы. Вы не хуже меня знаете, что в действительности будет править не она. Но кто?

Кстати, что поделявает ваш старый знакомец Талейран? Боюсь, это как раз тот случай, которого он ждал...

Сегодня ночью, страдая от бессонницы, я открыл подаренный вами том Тацита и прочел слова Тиберия: «Правители смертны — государство вечно». Это так. Но через какие испытания предстоит пройти Франции, чтобы жить вечно?

Легионы императора стоят ныне по всей Европе. Что предпримут полководцы? И главное, что будет с восточным походом, планы которого давно перестали быть секретом? Вся Пруссия и Польша наводнены войсками. Говорят, немцы уже дезертируют сотнями. Теперь боятся, что они побегут тысячами.

За несколько часов до смерти императора прискакал курьер из Вильны. Я имел случай говорить с ним. Александр не начнет первым войны, но воля его непреклонна. Император другого ответа, конечно, и не ждал. Но Александр понимает, что Франция и Европа без императора — совсем новая военная и политическая ситуация. Это, впрочем, понимают и в Дрездене. Сегодня утром Коленкур выехал на север. Мало кто не догадывается, что в Вильну. И здесь и в Париже хорошо известно, что он, рискуя милостью императора, упорно возражал против войны с Россией.

Когда-нибудь люди, пережившие эти дни в Дрездене, опишут их в своих мемуарах. Может быть, они расскажут, как вели себя собравшиеся здесь со всей Европы монархи. Саксонский король, когда ему доложили о несчастье, совсем потерял голову. Все глаза обращены к австрийскому императору и его дочери, молодой вдове, правительнице Франции. Дом Габсбургов ныне царствует в обеих империях! На лице императора Франца — непроницаемая маска... Германские князья шепчутся по углам, как школьники...

Но довольно. Я посылаю с этим же курьером письмо для моего сына. Ведь 18 июня ему минет двенадцать. Поцелуйте его от меня. Не знаю, когда я увижу вас и его. Пока мне приказано оставаться в Дрездене.

Что происходит в Париже? Ради бога, пишите мне. Я так нуждаюсь в ваших советах.

2. Из письма императрицы Марии-Луизы Александры I в Вильну

Государь брат мой! В эти тяжкие для Франции и для меня дни один бог мне опора и надежда. Внезапная кончина императора и супруга возложила на меня вопреки моей воле обязанности верховной власти до совершеннолетия нашего сына. Объятая скорбью Франция ждет, что я выполню священную волю моего покойного супруга. Я знаю, что одним из самых заветных его желаний было сохранить мир и дружественные отношения с Россией, так счастливо установленные несколько лет назад после кровопролитной войны. Мне известно также, что в последнее время между нашими государствами возникли разногласия. Однако моя глубокая вера состоит в том, что эти разногласия могут быть разрешены мирным путем ко благу наших народов и всей Европы. Я надеюсь, что ваш представитель, государь, будет присутствовать при погребении императора в Париже. Мое письмо доставит герцог де Виченца, рекомендовать которого вам нет необходимости. Пользуясь полным моим доверием, он сможет дополнить это письмо беседой...

3. Из мемуаров Коленкура

— Я рад видеть вас снова, — сказал Александр, вставая из-за стола.

— Я хотел бы лишь, ваше величество, чтобы повод для нашей встречи был менее печален, — ответил я.

— Сколько времени мы не виделись?

— Более года, ваше величество.

Он расспросил меня о подробностях смерти императора, несколько раз повторив задумчиво и с глубоким чувством: «Это был великий человек. Да, великий человек...» Царь осведомился о здоровье императрицы и младенца римского короля, спросил об императоре Франце. Однако тон его при этом стал несколько рассеянным.

— Я хотел бы быть с вами вполне откровенным, — сказал царь. Я молча поклонился. — Французская армия и собранные покойным императором со всей Европы войска стоят у моих границ и угрожают мне. Между тем вы прекрасно знаете, что я не давал никакого повода для угроз. Я честно соблюдал наши договоры. Мои требования никогда не выходили за пределы разумного, и они легко выполнимы... Теперь моя армия, как и ваша, стоит близ границы. Если бы я этого не сделал, Россия не простила бы мне легкомыслия. Видит бог, цели мои только оборонительные. Но, как военный человек и политик, вы понимаете, что трудно представить себе более благоприятную обстановку для осуществления моих требований силой...

— Это было бы величайшим бедствием для Европы, государь, — решился я прервать его, но царь продолжал, как будто не слыша:

— Ваши войска в Испании терпят поражения. В Германии неспокойно. Англия тверда, как никогда. Ваши союзники ненадежны. И у вас нет великих полководцев... После двадцати лет смуты и войны вы не можете рассчитывать на твердое соблюдение порядка престо-

лонаследия. Если один из маршалов... или один из членов семьи Бонапартов...

Должен сознаться, я похолодел от ужаса, и мое секундное смущение не укрылось от царя. Как всегда великодушный и безукоризненно вежливый, он тотчас переменял тему.

— Франция не должна навязывать мне меры, губительные для российской торговли и вызывающие недовольство моих подданных. Но я твердо повторяю вам то, что говорил раньше: я не обнажу шпагу первым. Если Франция действительно хочет мира, она найдет меня готовым к переговорам.

...Через два дня я выехал из Вильны в Париж с новой надеждой на мир. В Майнце я нагнал траурный кортеж.

4. Донесение кн. Куракина Александру I

Париж, июнь 1812 г.

...Уже слухи о смерти Наполеона, распространившиеся дня за два до правительственного манифеста, вызвали в Париже немалое волнение. Живя в уединении близ Севра и будучи болен, о чем я докладывал вашему императорскому величеству, я не мог лично наблюдать эти потрясения, но служащие посольства постоянно осведомляют меня самым подробным образом. Неделю тому назад возбуждение народа достигло крайней степени, так что министр полиции герцог де Ровиго вынужден был принять самые строгие меры. Среди черни парижской распространилась уверенность, что сторонники прежней династии Бурбонов, пользуясь помощью из Лондона, составили заговор. Возбуждению сильно способствуют недостатки и дороговизна, усилившиеся в последнее время. Крестьяне неохотно везут на продажу продовольствие, а правительство бессильно прокормить эту массу людей.

До вчерашнего дня я не имел возможности убедиться в правдивости или ложности слухов о заговоре, поскольку почти никаких сношений с французами после затребования паспортов и моего удаления из Парижа не под-



держивал. Однако вчера совершенно неожиданно имел я визит Талейрана, князя Беневентского. С обычным своим искусством вел он речи о нынешних трудных днях, не связывая себя какими-либо твердыми мнениями. Из речей его я все же уяснил, что он считает заговор, подобный упомянутому мною, вполне возможным...

До известия о смерти Наполеона я имел основания думать, что война уже началась или начнется со дня на день. Ныне, однако, я пребываю в неизвестности и сомнениях.

5. Леблан — Жаку Шассу

Париж, начало июня 1812 г.

Мой дорогой мальчик! Надеюсь, ты еще в Дрездене. Господина де Рюффо, который едет в Польшу, я просил уничтожить это письмо, если он не сможет передать его тебе лично. О церемонии погребения не пишу: эти акты современного идолопоклонства самым подробным образом описаны в газетах.

Русского императора представлял на церемонии Куракин. Он вышел из своего добровольного заточения, а от его старческих немощей, кажется, не осталось и следа. Как слышно, императрица австриячка уже дважды принимала его. Все заметнее Талейран. Как ты проницательно заметил, он точно ждал этого случая. Пока он никто, но влияние его растет буквально с каждым часом. Я думаю, он прежде всего использует свое влияние против войны с Россией. Ведь если вблизи границ будет одержана большая победа, то Даву, Мюрат, Богарнэ или еще кто-то из полководцев въедет в Париж триумфатором и может объявить, что в услугах князя больше не нуждается. А в нынешней мутной воде он отлично ловит рыбу.

Что сказать тебе о настроениях в Париже? Наверно, так было в Риме после смерти Цезаря или, скорее, после смерти Нерона. Впрочем, по этому поводу Тацит, которого ты вспомнил, замечает, что едва ли можно говорить об общем настроении у такого множества людей, как

население Рима. Тревога — вот, пожалуй, что объединяет настроение многих. Но есть немало людей, притом из совсем разных слоев общества, для которых нынешнее положение означает надежду. Так думает твой брат, который внезапно появился у меня на днях.

Многие боятся гражданской войны, а иные открыто говорят об этом. Правда, кто с кем будет воевать, — неясно. Но ведь и после смерти Нерона это было неясно. Само возвышение Бонапарта показало, чего можно добиться, действуя быстро и безжалостно, сочетая силу и хитрость. В известном смысле теперь узурпатору было бы легче. Ведь, говоря словами Тацита, *manebant etiam tum vestigia morientis libertatis*¹. А теперь и следов нет. Что касается имен возможных узурпаторов, то я молчу. Об этом предмете ты можешь судить сам.

Похоже, что главная угроза теперь — сторонники Бурбонов. Они оказались гораздо сильнее, чем можно было думать. Много слухов о волнениях в Бретани, где темные крестьяне до сих пор верят в добрых королей.

Вчера Аннет вернулась с рынка с пустой сумкой. Нет мяса, молока, плохо с овощами. Многие булочники закрыли свои лавки. Аннет сказала, что в фобуре Сент-Антуан народ разгромил булочные. Там настоящий голод. Богатые платят за припасы втридорога, но у бедняков нет для этого денег.

Я ничего не пишу о наших спорах. Время — лучший ментор и судья. Одного я боюсь: деспотизм Наполеона был настолько всеобъемлющим, что его внезапный конец может вызвать катастрофу.

Твой сын становится все больше похож на бедняжку Элизу. Такой же нежный и хрупкий. Это меня немного тревожит: ведь он мужчина. Увидев мальчика в день его рождения, я сразу представил Элизу такой, какой ты привел ее ко мне пятнадцать лет назад. Прости, если эти воспоминания слишком грустны для тебя. Во всяком

¹ Тогда еще сохранялись следы умиравшей свободы (лат.).

случае, он здоров и любит тебя больше, чем когда-либо. Надо надеяться, что наши дети будут счастливее нас...

6. Из дневника Николая Истомина

Петербург, май — июнь 1812 г.

...Был вместе со всеми у министра по проекту уголовного уложения. Вышел полный негодования против тех, которые там говорили. И в их-то власти миллионы людей в России!

Нынче сижу дома больной: опять проклятая лихорадка, что в позапрошлом году ко мне в Вене привязалась. Чувствую тоску нестерпимую. К Петербургу ничто меня не привязывает, лишь NN. Да и ее не видел две недели. Иной раз хочу безумно видеть, а иной — чего-то боюсь. Что у меня за характер, право! Корсаков говорит: брось эту мерехлюндию и сватайся, пока не поздно. Меня от одной мысли обо всем, что это может предвещать, в жар бросает. Но сам в себе не могу ничего понять.

...Думал о Michel-Michel¹. Можно разное ему в вину поставить, но измену?! И кто обвиняет! Возвышение его делает обществу немного чести, ибо способ одного только при деспотическом правлении возможен. Mais sa chute!² Все скрыто, все тайно... Ночь, кибитка, жандарм. Кажется, если виноват, судите открыто! Где там... Мысли эти еще больше усиливают тоску. Слава богу, хоть лихорадка отпустила.

...Письмо от маменьки и записка от Оленьки. Напрасно я им написал об NN и о планах моих. Поспешил от восторженного состояния. Маменька в тревоге: такой женитьбой состояния не поправишь. А Оленька прелесть. Повезло мне такую сестру иметь. Послал ей книги.

Читал Tacite по-французски. Сколько в Геттингене латыни ни обучали, а все несвободно читаю. О тираны нынешние! Кто напишет о вас, как написал благородный Тацит?

¹ Сперанский.

² Но его падение! (фр.).

...Нынче обедал у Корсаковых. Там поразительное известие: Наполеон упал в Дрездене на прогулке с лошади и разбился насмерть. Известие верное: Корсаков-отец получил письмо от нашего посланника, своего кузена. Волнение было необычайное. Патриоты обнимались и поздравляли друг друга как с победой. Только и речи было о Провидении, о воле Всевышнего. Вот какой жребий таила судьба для этого поистине великого человека, хоть и деспота всеевропейского!

Будет ли ныне Россия избавлена от войны, о коей давно все говорят? Много было споров о том. Я тоже говорил, и, кажется, с излишней горячностью. По мне, на любой вопрос надо с пункта зрения эмансипации народа русского глядеть. Если бы от сей войны освобождения крестьян ожидать было возможно, я считал бы и войну благом.

7. Ольга Истомина — брату в Петербург

Владимирская губерния, июнь

Друг мой, милый братец! Вольно тебе думать, что мне не интересны твои служебные дела, а интересны только покойный Наполеон да Андрюша Татищев. Но в делах твоих я все равно ничего не понимаю и не пойму, как ты ни старайся. Мы обе с маменькой молим бога, чтобы ты не прельщался воинской славой, а служил с успехом в гражданской службе. Я хочу еще, правда, чтобы ты сделался писателем. Мне кажется, что и NN этого хочет. Если бы ты знал, как мне не терпится с ней познакомиться! Я уверена, мы с ней сойдемся. По губернии объявили новый рекрутский набор: по одному человеку с двухсот ревизских душ. Неужели война все-таки будет?

8. Николай Истомин — сестре

Ну, хоть ты и не берешься судить о моих делах служебных, на этот раз все поймешь и заинтересуешься.

На прошлой неделе зовет меня князь Григорий Петрович (я тебе словесный с него портрет рисовал) и очень даже любезно говорит:

— А не надоел тебе, братец, Санкт-Петербург?

Я совершенно не понимаю, куда он клонит, но на всякий случай от такой ереси открещаиваюсь: «Помилуйте, ваше сиятельство, как можно...»

Смеется. Короче, предлагает мне сверхштатный пост в нашем посольстве в Берлине. «Ты, мол, в Германии учен, *couleur locale*¹ знаешь. С французами тоже имел дело, тот-то и тот-то о тебе хорошего мнения. Не думай, впрочем, что тебе много с пруссакими возиться придется. Государь велел создать нечто вроде штаб-квартиры дипломатической для решения всех европейских дел». Это значит, конечно, для переговоров с французами. Они теперь переговоров ужасно хотят, воевать с нами отнюдь не собираются. Ехать надо не позже как через две недели. Дал он мне на размышление день. Наутро я согласился. Искренне желаю отечеству полезным быть, но ясно вижу, что в Петербурге это невозможно. Особенно после происшествия со Сперанским. Идея моя об освобождении остается главной целью жизни моей. Но сделать пока ничего не могу, ибо сила у защитников рабства безмерная.

Догадываюсь, сестричка, какой у тебя на языке вопрос: а что же NN?

Скажу тебе честно — сам не знаю. Решительного объяснения не было и до моего отъезда не будет. Они выехали на дачу на островах. Намедни я был у них. Матап сурова и строга, как всегда. NN — ангел. А я — самый несчастный человек на свете... Правда, к стыду своему, дома я уже не чувствовал себя таким несчастным: заботы сборов меня захватили.

Занимаюсь своим гардеробом. Позапрошлый год приехал я из Геттингена бедным студентом, а нынче, шутишь ли, секретарь посольства. К надворному советнику представлен. Деньги все, что были, издержал и в долги залез. У портного и спрашивать страшно. Да не беда: обещают авансом жалованье за полгода вперед.

¹ Местный колорит (фр.).

В лавках здесь можно купить, хоть и недешево, английские сукна знатные и много иного хорошего товара. Посылаю тебе, сестричка, с этой же оказией спенсер бархатный очень модный и garniture de toilette¹. Все из Англии, все полуконтрабанда. А для маменьки шаль кашемировая индийская. Как император французский ни старался, а торговля что природа: гони ее в дверь, она в окно влезет. В Германии я сам видел, как на площади английские товары жгли. Люди стоят кругом молча, женщины плачут. Одна в истерике закатилась. Инквизиция какая-то. Не знаю, жгут ли теперь...

9. Николай Истомин — сестре

Вильна, 25 июля (6 августа)

Фельдъегерской почтой домчался я сюда за пять дней. Сил моих нет дальше так ехать, второй день отдыхаю. И кого, ты думаешь, я встретил на улице в первый же час? Конечно, Андрюшу Татищева. Сияет, как новенький серебряный рубль, и тебе очень даже кланяется.

Осматривал дворец, где жил государь, и кабинет, в котором он принимал Коленкура. О беседах этих ходят самые невероятные разговоры, кои мне Андрей передавал. За неделю до моего отъезда распространился в Петербурге слух о возвращении Сперанского. Будто государь на балу публично сказал, что его оклеветали. Будто за ним послано и он уже на пути в Петербург. Не знаю, что об этом и думать... Об NN вспоминаю часто и с грустью. Тоскую больше, чем ожидал.

10. «Московские ведомости» в августе 1812 г.

Война в Испании производится с невероятным ожесточением. Провинции, в течение трех лет, по-видимому, спокойно сносившие иго, паки подняли оружие. Не только мужчины, но даже самые женщины, отчасти вооруженные деревянными кинжалами, поелику у них отобраны и ножи, нападают на французов...

¹ Туалетный набор (фр.).

...Из Лондона, 20 июля... Здесь за достоверное почитают, что король Иосиф намерен вовсе из Испании уйти. Из Мадрида вышел он со всей армией, какой располагать мог, и ныне движется по дороге к границе французской. Здесь распространился слух, что король Иосиф потому еще столь быстро к границе бежит, что полагает за трон французский с малолетним королем Римским поспорить.

Из Франкфурта, 25 июля... По дошедшим сюда сведениям, в Париже на прошлой неделе был мятеж противу правительства. Сообщают, что мятежники первоначально успех имели, но к концу второго дня рассеяны войсками. Цель их состояла в свержении царствующей династии и в восстановлении трона Бурбонов. К ним присоединились толпы народа, недовольного голодом и дороговизной. От ружейного огня много людей погибло. Правительство объявило, что зачинщики мятежа схвачены и будут судимы военным судом.

11. Из донесения кн. Куракина в Петербург

...Вопреки всем ожиданиям, мятеж застал правительство врасплох, чем и объясняется успех его в первые часы. Караулы не были усилены, дома виднейших вельмож плохо охранялись. Правительство, занятое странным поведением короля Иосифа и спорами с маршалами, стоящими в Германии и Польше, упустило из виду, что происходит в Париже.

Спасением своим династия и правительство обязаны распорядительности герцога де Бассано. Ему удалось скрыться в ночь, когда отряды мятежников арестовали в их домах принца Евгения, министра полиции герцога де Ровиго, князя Невшательского, герцога де Виченца, а также некоторых иных лиц. Как в Париже рассказывают, он незаметно вышел из дома в одежде лакея, пока бунтовщики искали его по всему дому. Явившись в казармы гвардии, он именем императрицы приказал войскам окружить Тюильрийский дворец, где она находилась вместе с королем Римским. Промедление погубило

мятежников. Когда в утренние часы их отряды приблизились ко дворцу, они были встречены сильным огнем и после жестокой схватки рассеяны.

Враги династии, силы коих насчитывали, как уверяют, до трехсот вооруженных людей, засели во дворце Пале-Рояль. Они были бы, однако, схвачены или умерщвлены в тот же час, если бы не буйство черни парижской. Истинные цели заговора ей вовсе не были известны. Однако, возбужденная стрельбой и видом крови, чернь собралась огромными толпами близ дворца. Командиры войск, не отличив эти толпы от мятежников и полагая намерения их преступными, приказали вновь открыть огонь. По свидетельству очевидцев, кровопролитие было чрезвычайное.

Получив сию неожиданную помощь и ободрение, мятежники, к которым тем временем примкнула часть солдат и офицеров двух армейских полков, вечером того же дня вышли из осады. Произошло новое сражение. Как слышно, в иных местах они имели поддержку от народа, а в иных чернь с войсками правительства заодно была. Великое смятение и кровопролитие усугублено было пожаром. Начавшись в Пале-Рояле, распространился он на многие соседние здания.

К полудню следующего дня исход мятежа еще отнюдь не был ясен, но своевременные действия герцога Бассано решили дело. Посланные им накануне офицеры привели резервную дивизию, войска правительства к темноте истребили и захватили в плен большинство мятежников. Остальные рассеялись вместе с толпами черни. Лица, названные мною, были все освобождены, за исключением герцога Ровиго, который найден мертвым во дворе одного из домов. Князь Невшательский легко ранен и обожжен лицом.

Известно стало от взятых пленных, что заговорщики намерены были императрицу и короля Римского захватить и в заложниках держать, по прибытии же и утверждении ими желаемого короля — в Австрию отпустить.

Вчера дан от императрицы манифест, коим учреждается в помощь ей Регентский совет в составе семи лиц. Председателем оного будет герцог Бассано, а в числе членов названы лишь Бертье и Кёленкур. Надо полагать, остальные места для военачальников оставлены.

...Продолжаю донесение после перерыва, вызванного чрезвычайным обстоятельством — визитом князя Беневентского. Зная Талейрана на протяжении нескольких лет, никогда не видел я его столь удрученным и встревоженным. Не могу передать тех бранных слов, какими он поносил руководителей мятежа. Как я, впрочем, понимаю, цели их он если и не разделяет, то отчасти одобряет. Гнев же князя вызван их поспешными и несвоевременными действиями, которые привели к возвышению его злейшего врага и соперника.

«Чего ждете вы ныне от правительства?» — спросил я его. «Падения влияния Габсбургов и усиления влияния Бонапартов». — «Вы имеете в виду короля Иосифа?» — «Если бы я не знал этого дурака пятнадцать лет, я сказал бы, что с его картами можно сыграть теперь прекрасную игру. Но он не сумеет. Нет, усилится влияние не семьи Бонапартов, а партии бонапартистов, особенно людей, которые были при императоре в последнее время».

Я спросил: «Дело старой династии вы полагаете безвозвратно проигранным?» — «Безвозвратна только смерть, князь. Я боюсь, однако, что безрассудные действия сторонников Бурбонов опасно возбудили народ. Имейте в виду: чернь хорошо помнит 89-й и 92-й годы».

Беседа наша продолжалась около часа. Я спросил Талейрана, надо ли считать ее вполне конфиденциальной. Он взял меня под руку и, подведя к окну, указал на двух хорошо одетых господ, по-видимому спокойно беседовавших между собой. «Это шпионы Маре. Через полчаса он будет знать о нашей беседе. Но, надеюсь, не о ее содержании».

12. Марк Шасс — Леблану

Вы понимаете, почему я не появился у вас в условленное время. Я был на площади у Тюильри, я видел пожар Пале-Рояля, я видел, как потоками текла кровь французов, проливаемая французами. Из-за чего? Из-за того, будут ли нами владеть Бонапарты, Габсбурги или Бурбоны! О гнусный авантюризм! О чудовищная жестокость! О страшная слепота народа! Пока жив, не забуду эти дни и ночи. Огненными письменами вписаны они в историю Франции. Но заблуждаются те, кто думает, что народ всегда будет слеп!

Я не могу больше писать. Я задыхаюсь от дыма пожара и от слез ярости.

Эту записку доставит вам мальчик, чей отец, бедный рабочий, погиб вчера. Мать его давно умерла. Ему 12 лет, но на вид не более восьми. Таковы дети парижских трущоб. Надо ли говорить, что я прошу хоть на время приютить и приласкать его. Я приду к вам когда смогу.

13. Жак Шасс — Леблану

Дрезден, конец июля

Дни проходят томительной чередой. Меня затягивает болото здешней провинциальной жизни. Бездеятельность в эти роковые дни становится невыносимой. О событиях в Париже сюда доходят противоречивые, иной раз чудовищные слухи. Говорят, при подавлении мятежа погибло до двух тысяч человек, в том числе немало женщин и детей. Неужели это правда? Страшно верить. Я же в это время люблю картины в королевской галерее или игрушечными парадными саксонской армии.

Русский посланник вдруг сделался здесь важной особой. О войне никто, разумеется, не говорит. Войска союзников, часто вопреки приказам наших маршалов, покидают пограничные области. Великая армия императора, которую он готовил два года, перестала существовать за два месяца.

Несколько дней назад промчался через Дрезден Мюрат. Он направляется в свое королевство, откуда получе-

ны тревожные известия: об английском десанте близ Неаполя, о мятеже в армии. Как всегда, он похож не то на павлина, не то на индюка: пестрый, пышный, гордый. Кажется, его дела обстоят неважно, что меня, впрочем, не очень огорчает.

Проконсул Германии Даву сидит в Гамбурге в окружении сотысячной армии и выжидает. Уж это он умеет! Может быть, это новый Веспасиан? Не намерен ли он выжидать, пока другие претенденты перебыют или истощат друг друга, чтобы затем со свежими легионами выйти на арену?

14. Манифест Жозефа Бонапарта, данный в Байонне

10 августа 1812 года

Французы!

Чувство долга перед родиной требует от меня в эти дни решительных действий. Правительство в Париже, пытающееся управлять империей от имени малолетнего сына моего покойного брата, теряет остатки контроля над страной, армией и союзными народами. Оно запуталось в бесчестных интригах. Его слабость и двоедушные привели к кровавым событиям, стоившим жизни многим нашим соотечественникам. В решающий момент это правительство может оказаться бессильным перед заговорщиками, которые стремятся вернуть трон низвергнутой волей народа династии.

Необходимо, чтобы сенат, представляющий народ Франции, решил вопрос о верховной власти. Наследие императора должно быть в достойных и твердых руках.

Французы! Оказывайте помощь войскам, которые я возглавляю. Они с честью прошли трудный испанский поход. Они достойны вашего доверия. Я обращаюсь к вам также как законный король союзной Испании и призываю к объединению сил обоих государств во имя величия Франции и процветания Испании.

Французы! Поддержите меня в этот решающий для родины час. Заставьте правительство признать волю народа.

Король Жозеф

15. Марк Шасс — Жаку Шассу

Париж, август 1812 г.

Брат, с верным человеком посылаю это письмо и прошу тотчас по прочтении уничтожить. Причину ты сейчас увидишь.

Ты, товарищ моих детских игр, единственный брат мой, не можешь чувствовать иначе, чем чувствую я. Наши разногласия теряют ныне свое значение. Я уважаю твои чувства к покойному Бонапарту и не собираюсь говорить о нем. Его нет, и это главное.

Отчаянная борьба идет за власть и богатство между людьми, равно чуждыми французскому народу. Кто лучше — австрийская династия, ничтожество Жозеф, мрачный убийца Даву, наконец — Бурбоны? Бессмысленный вопрос! Власть должна быть возвращена источнику, из которого она исходит, — народу!

Мы создали тайное общество друзей свободы. Мы ставим целью вырвать Францию из пучины монархических распрей и восстановить республику 1-го года. Среди нас есть люди, которые вдохновляются идеями Бабефа — героя и мученика революции. Ты знаешь, что я всегда разделял эти цели. Но я понимаю, что ныне мы не можем объединить Францию под этим знаменем. Мы призываем сражаться вместе с нами всех, кому дорога Франция, республика и свобода. Когда мы победим, народ сам решит, в чем конечная цель.

Я призываю тебя, брат, встать в этой борьбе плечом к плечу со мной, как стояли братья Гракхи. И если нам суждено умереть, умрем вместе за счастье Франции.

Податель этого письма объяснит тебе остальное и скажет, как меня разыскать. Во имя народного блага я должен быть невидим для полицейских ищеек.

16. Леблан — Жаку Шассу

Париж, конец августа

Париж полон интригами, слухами об интригах и слухами о слухах. Всех занимает борьба между Маре и

Талейраном. За последние недели Талейран отчасти вернулся потерянное в июле.

Вчера я вновь встретил его на прогулке. Несмотря на хромоту, он ежедневно отмеряет свой урок по аллеям. Няньки и малые дети посматривали на двух стариков и думали: «Эти-то свой век отжили!» Между тем Талейран, возможно, приближается к своему звездному часу. Я-то знаю, что скрывается за спокойной ленью и снисходительной иронией бывшего епископа. Четверть века наблюдаю я этого человека и не устаю удивляться!

Мы провели два часа в беседе, которая началась с короля Жозефа, а кончилась римлянами и Тацитом. Он один из немногих в Париже, кто может оценить мой труд.

Потом речь зашла о Бонапарте. Он-то терпеть не мог Тацита: неприятные ассоциации! Талейран мне рассказал любопытные подробности о разговоре, который имел Бонапарт с великим Гёте. Талейран присутствовал при этом разговоре: было это в 1808 году, во время эрфуртского свидания императора с царем. Бонапарт ругал Тацита последними словами и недоумевал, в чем причина его популярности. Он, мол, учит правителей бояться народа, а народ — ненавидеть правителей.

Какой народ? Каких правителей? В этом суть.

По поводу дел нынешних князь со мной подозрительно откровенен. К чему бы это?

Не знаю, причастен ли он к памяtnому мятежу, но ныне выжимает из мятежа и из его поражения все что можно. Вождям эмигрантов он говорит: «Теперь вы видите, что получается, когда ваши люди плохо слушаются меня? Следующий раз будьте умнее и действуйте только с моего благословения!» Императрице и ее австрийскому окружению: «Разве вы не понимаете, куда ведет усиление Маре? Если Римский король ему пока нужен, то Габсбурги — вовсе нет. Я — тот человек, который поможет вам сохранить власть». Русскому царю через Куракина или еще через кого-то: «Ваше величе-

ство, вам должно быть ясно, что серьезные переговоры можно вести лишь со мной. Помогите мне скинуть Маре и вы останетесь мной довольны».

Вероятно, он что-то говорит также Жозефу, англичанам и Даву, но моей проницательности не хватает, чтобы угадать.

Жозеф пока не решается выйти из Байонны. Похоже, он переоценил магнетическую силу имени Бонапартов. К тому же военная его сила меньше, чем сила Даву.

Неужели западные легионы столкнутся с восточными на полях Франции? Неужели возможна гражданская война?

Ко мне изредка заходят старые друзья. Те из них, кто сохранил силы и боевой дух, восстанавливают республиканские клубы. Пока власти смотрят на это сквозь пальцы. То ли они не видят серьезной опасности, то ли просто заняты другими делами. Возможно, справедливо и то и другое.

Твой брат снова был у меня. Он носит рабочую блузу и пришел ко мне под видом мастерового. Ты бы его не узнал: черная с проседью борода, глаза горят на исхудавшем лице. Впрочем, он, по-видимому, здоров и лишь одержим лихорадкой деятельности. Он сказал, что ты знаешь — какой именно деятельности. Первой мерой на случай захвата власти он предусматривает перенесение праха Бабефа в Пантеон. Каково!

17. Талейран — Леблану

Дорогой Леблан! Придя домой, я проверил это место у Светония. Вы оказались правы. Светоний действительно рассказывает, что цезарь Веспасиан при восстановлении Капитолия после пожара подал пример, взявшись своими руками расчищать обломки и выносить их на собственной спине. Этого нет у Тацита.

Остается вопрос, который мы обсуждали: кто из нынешних претендентов способен проделать подобное в Пале-Рояле?

Я завидую вам, оставившему политическую суету ра-

ди вечной мудрости древних. Рано или поздно я последую вашему примеру. Что нового у друзей республики? Если завтра вы выйдете на обычную прогулку, то мы встретимся.

18. Жак Шасс — Леблану

Берлин, сентябрь

Ваше письмо нашло меня в Берлине, куда мне приказано было направиться. Я состою при специальной миссии, которая будет вести переговоры с русскими. Из Парижа сюда на днях прибывает герцог де Виченца, а из Петербурга — кто бы вы думали? — Сперанский, которого царь внезапно вернул из ссылки и назначил на особый дипломатический пост!

Со Сперанским я знаком со времен Эрфурта. Император Наполеон был о нем весьма высокого мнения. Однажды он в шутку предложил Александру обменять Сперанского на какое-нибудь королевство. Мне будет интересно встретить его снова.

Пока же я познакомился здесь с одним молодым русским — г-ном Истоминым. Свое дворянство он возводит к XVI веку и говорит об этом не без гордости, хотя, впрочем, и не без иронии. Учился в Геттингене. Очень неглуп и симпатичен. Кажется, мы подружались или подружимся. Глядя на него и на одного из его спутников, я думаю, что в России вырастает новое поколение, совсем непохожее на бояр, каких вы знавали в Париже еще при старом режиме. Дух гражданственности — это что-то новое для русских.

Ваши проникательные замечания о князе меня немало развлекли. Вы не ошиблись и в том, что он имеет частные сношения с Даву. У меня был случай убедиться в этом, когда я сидел за бутылкой вина с одним из моих старых друзей, который служит в штабе маршала. На прошлой неделе Даву наконец вышел из Гамбурга с шестью дивизиями и медленно движется на запад. Никто не знает, что он задумал. Не суждено ли Жозефу сыграть роль злополучного Вителлия в борьбе с этим Веспа-

сианом? Династия Даву — как это звучит, а? Я отлично помню Даву еще с итальянского похода. Над ним тогда смеялись: ему были свойственны осторожность, хладнокровие и упорство — качества не очень частые у французов. Но теперь именно эти качества ему могут пригодиться.

Я получил письмо от моего брата. Волнующая искренность и напыщенный слог странным образом соединяются в нем. Но я не чувствую в себе готовности сражаться и умирать за то, чтобы прах Бабефа попал в Пантеон.

Кто-то сказал, что Берлин, собственно, не город, а лишь место, где собрано множество людей. Среди этих людей немало умных, они-то и образуют духовный мир Берлина. Но эти люди — берлинцы лишь по прихоти географии. Собери их в любом другом городе, и они образуют точно такое же общество. Внешне же Берлин — это втиснутые в одну линию монотонные дома и широкие, проложенные по линейке улицы.

Впрочем, живется мне здесь довольно весело. Благодаря своему положению сотрудника специальной миссии я принят во дворце и в свете. Когда я получаю известия из Франции, то порой думаю, что это веселье на пороховом погребке.

19. Николай Истомина — Ольге Истоминой

Берлин, сентябрь

Милая сестричка, столько событий пронеслось над миром и надо мной за два месяца, что даже не знаю, с чего начать.

Сперанский находится здесь вторую неделю. Я пользуюсь полным его доверием, что мне весьма лестно. Он ведет дело с большим искусством и тактом, хоть испытывает трудности немалые. Главная цель его — добиться от французов мирными средствами всего, чего желает государь: постепенного очищения Польши и Пруссии, свободы торговли и мореплавания, невмешательства их в наши дела с Турцией и Швецией.

Хватит мне, однако, забивать твою головку политикой.

Хоть и просиживаю порой ночи над срочными бумагами, занимаюсь я не только работой. Чуть не каждый день — балы. То-то натанцевалась бы ты здесь вдосталь! Вчера — у прусского вельможи, сегодня — у нашего посла, завтра — во дворце, и так день за днем!

Сознаюсь тебе честно: здесь было бы нетрудно забыть NN с ее прелестными глазками, хоть я и получил от нее письмо (писанное, как видно, отчасти под диктовку маман). Мой новый друг М-г Chasse, capitaine de l'armée impériale¹ и умнейший человек, безумно влюблен в даму здешнего общества, а я, кажется, его поверенный в сердечных делах. Шасс бы тебе понравился: человек умный, благородный и чувствительный, хоть, заметь, из мещанской семьи. Он рассказал мне свою жизнь. Какая жизнь! Он на десять лет старше меня, но опыта у него, полагаю, в десять раз больше. Помнит он революцию, был тогда мальчиком, но не ребенком. В 16 лет он в армии, на Рейне. Ранен штыком в ночном бою. Возвращается в Париж и садится за книги. Сам себе университет! Были у него и наставники, коих он ныне с великим почтением поминает.

Он любит девушку, но ее родители не дают согласия на брак. Он увозит возлюбленную, брак заключен против воли ее семьи. Шасс отправляется с Бонапартом в египетский поход, не зная, что она готовится стать матерью. Семья отрекается от нее, она живет с ребенком в нужде. Шасс, чудом уцелев в Египте, попадает в плен, бежит, пойман и едва не казнен ужасной смертью. Снова бежит и попадает в Париж к свежей могиле жены. Сын его теперь воспитывается в закрытом лицее.

Пять лет провел он в странствиях дальних и опасных. Был в Мексике и Бразилии. Вернулся тяжело боль-

¹ Г-н Шасс, капитан императорской армии (фр.).

ной, доктора считали его обреченным. Но он выжил и лишь три года снова в армии. Поэтому он только капитан, хотя его лично знал Наполеон. По-моему, он мог бы командовать хоть корпусом.

...Прости, душа моя, пришли за мной от Сперанского. Поцелуй от меня маменьку. Я посылаю ей несколько фунтов лучшего голландского табаку. Сделал для ма-тушки мой миниатюрный портрет — здесь мастера есть изрядные. Хочу вставить его в табакерку, как она желает, и послать следующей почтой.

20. Из мемуаров Талейрана

В увлечении быстрой сменой событий, тщеславием, ежедневно новыми интересами, в атмосфере войны и политической борьбы, окутавшей Европу, никто не мог внимательно приглядеться к собственному положению: политическая жизнь слишком владела умами, чтобы хоть одна мысль могла обратиться к частным делам. Люди бывали у себя дома только случайно и потому, что где-нибудь же надо отдохнуть, но никто не желал постоянно пребывать в собственном доме.

...Характер Даву сыграл в эти дни роковую роль. Генерал в 24 года, первоклассный военный талант, он сознательно подчинил себя и свою жизнь гению Бонапарта. Он был свободен и от недостатков последнего: несдержанности, недостаточной обдуманности действий. Я уверен, что Даву не увяз бы в трясине пиренейской войны, как это сделал император. В 1812 году ему было сорок лет: прекрасный возраст для военного и государственного мужа, когда еще сохраняется энергия молодости и уже не опасны ее страсти. Смерть императора открыла для него новые возможности.

В беспримерно сложной обстановке этой долгой и теплой осени он один, казалось, сохранял спокойствие. К несчастью, и спокойствие может быть чрезмерным. Мудрость политика, как и полководца, состоит в том, чтобы действовать в должном месте и в должный момент. Сколько прекрасных планов пошло прахом из-за

того, что действие осуществлялось чуть-чуть рано или чуть-чуть поздно!

Мы попытались соединить его хладнокровие и мой опыт и были близки к успеху. Но...

21. Из дневника Жака Шасса

Берлин, сентябрь

...Мрачное известие: в Байонне убит Жозеф. Убийца — офицер его собственной гвардии. Король проезжал по улице верхом в сопровождении небольшой свиты. Убийца подъехал вплотную (никто его, естественно, не остановил) и выстрелил в упор. Он пытался ускакать, отстреливался, был смертельно ранен и умер, ничего не сказав. Круг смерти ширится...

Cui prodest? ¹ Маре? Даву? Талейран? Англичане? Испанцы?

Все ждут подробностей, но будут ли они? Сульт принял командование над западной армией...

Разговоры с Nicolas. По его просьбе подробно рассказал ему обстоятельства гибели императора. Дальше запишу диалог...

Он. Был заяц, была пугливая лошадь, был камень на дороге. Ведь это величайший заяц в истории зайцев! Но подумайте: заяц мог броситься под копыта лошади Бертье, или Коленкура, или любого офицера свиты. Мог просто пробежать стороной. Почему он попал именно под ноги коня Наполеона? Предположим, он спасался от лисицы. Но если бы лисица не была голодна, она не гнала бы зайца... Ведь так можно рассуждать без конца. От чего же тогда зависит ход мировых событий?

Я. О вашем парадоксе я уже немало думал, Nicolas. Это бесплодный путь мысли...

Он (все больше увлекаясь). Но, Jacques... Ведь были не только заяц, камень, лошадь. Была задумчивость императора. Была сама его поездка. Ведь он мог передумать, мог поехать другой дорогой, мог удержаться в сед-

¹ Кто имеет выгоду? (лат.).

ле. Как же сцепились все эти бесчисленные звенья в одну роковую цепь? Достаточно было выпасть одному звену, совершенно ничтожному, и не было бы всей цепи, и не погиб бы ваш император... Но тогда, бог мой, мы с вами вернее всего были бы врагами и могли бы встретиться на поле боя... И один из нас мог бы убить другого! Какая мысль!

Я. Это действительно чудовищная мысль. Но продолжайте ваше рассуждение. Мне кажется, я чувствую, куда оно клонится.

Он (задумчиво). Как это, право, странно. Ведь ничья воля не сочетала все эти мелочи, чтобы погубить Наполеона и чтобы мы с вами могли встретиться. А вместе с тем могло ли все это само, стихийно, случайно сочетаться именно таким образом?

Я. Ага, вот мы и добрались до предопределения и еще чего-то сверхъестественного! Ничья человеческая воля не сочетала, а какая-то воля все же сделала это! А я вам предложу другое рассуждение. Каждая из мелочей имела вполне материальные причины и сама по себе никак не была связана с судьбой императора. Заяц был испуган кавалькадой и бросился ей наперерез, что соответствует заячьей природе. Поэтому он попал под копыта лошади, на которой впереди всех, как обычно, ехал император. Ехал он на коне, который всегда служил ему для прогулок; я думаю, он был не более и не менее пуглив, чем другие лошади из императорской конюшни. Но Наполеон был неважным наездником. Он не удержался в седле. Между тем дорога там была каменистая...

Он. Как просто это у вас получается! И все же согласитесь: есть нечто называемое судьбой, роком, фатумом. Но если есть рок, то, может быть, есть воля, его определяющая... Вы верите в предчувствия?

Я. Это неожиданный вопрос. Верю, поскольку они имеют под собой некую материальную основу...

Он. Например?

Я (вероятно, несколько неуверенно). Ну, например... В Египте я был одержим дурными предчувствиями в отношении моей жены. К несчастью, они оправдались. Вы скажете: вот доказательство способности человека предчувствовать. Но я скажу иначе. У меня были вполне реальные основания для дурных предчувствий. Во-первых, у Элизы было от природы слабое здоровье, и я это знал. Во-вторых, было весьма естественно, что она оказалась беременна. В-третьих, зная эту семью, я мог предвидеть ее жестокость, а зная мою жену, я мог предвидеть ее гордую нищету, которая легко ведет к болезни... Может быть, это не так романтично и не так мистично, как вам хотелось бы, но это правда.

Он. Мне стыдно, что я вызвал вас на эти грустные воспоминания. Но скажите: Наполеон ничего не предчувствовал?

Я. Затрудняюсь ответить. Многие говорят, что да: накануне он зашел в сельскую церковь, оставив всю свиту снаружи, и пробыл там один или наедине со священником минут пятнадцать. Но я не вижу здесь никакого предчувствия. Утром он был оживлен, весел, энергичен... Да и что он мог предчувствовать: зайца, спасающегося от лисицы?

Он. Вы смеетесь надо мной...

10 октября

...Что же мне еще нужно? Я обладаю женщиной, которая могла бы составить счастье любого смертного. Но дурные предчувствия, над которыми я, кажется, подшучивал в том разговоре с Nicolas, томят меня. Почему? Я не могу обнаружить никакой осязаемой причины... С некоторых пор я перестал быть вполне откровенным с ним. Мне кажется, бедняга не избег ее чар, как ни старался. Прекратились наши чудесные разговоры...

22. Талейран — маршалу Даву

...Не знаю, была ли его смерть заслуженной, но она была закономерной. Жозеф начал игру, для которой не

имел ни характера, ни дарований, ни чувства меры. Я заклиная вас, князь, не медлить больше. Я надеюсь так скомпрометировать Маре, Коленкура и Бертье, что ваша задача будет облегчена. Меня больше беспокоит положение в самом Париже. Помните ли вы: император не раз говорил, что он один остановил революцию, что после его ухода она будет продолжаться. А он часто был весьма проницателен. Брожение может охватить провинции и армию. Старайтесь не давать солдатам свободного времени и возможности общения с чернью.

23. Из дневника Николая Истомина

Берлин, октябрь

...Бал у австрийцев. Шасса нет, он послан ненадолго с миссией в Дрезден. Г-жа фон Г. здесь. Глядя на нее, понимаешь Шасса. Не таких ли женщин из Венеции писал Тициан? За ее уверенностью и свободой обращения мне видится что-то другое... Что? Бог знает.

— Mais où est votre ami français? ¹

Я уверен, она знала о поездке Шасса. Мой ответ она, впрочем, едва слышала. Мысли ее были далеко.

Станный конец разговору. Слуга подал ей конверт. Она открыла его и, бегло просмотрев небольшую записку, в нем бывшую, обратилась ко мне:

— M-r Nicolas. (Еще на прошлой неделе она спросила у меня разрешения так меня звать.) Окажите мне услугу. Возьмите это письмо, пойдите и сожгите его тотчас же. Убедитесь, что все обратилось в пепел.

Я взял конверт, вышел в соседний кабинет, где никого не было, и зажег от свечи конверт вместе с запиской. Вернувшись в зал, я не нашел ее там. Мне сказали, она только что уехала.

...Шасс вернулся. Я рассказал ему о происшествии на балу. И может быть, напрасно. Он что-то шутил, но я его уже достаточно знаю: ему было неприятно. А я, кажется, впервые подумал, что, в сущности, завидую ему

¹ Но где ваш французский друг? (фр.).

и ревную. Это ужасно. Он показал мне письмо из Парижа. Неужели там будет революция? О, как бы я хотел это видеть!

...Кому доверю я то, что происходит в моей душе? Только сим листам, на коих дал себе клятву быть искренним до конца. Сила неодолимая влечет меня к этой женщине. Являюсь в дом всякий день, знаю, что это становится неприлично, но не могу с собой ничего сделать. Иногда мне кажется, что она ко мне расположена.

Думал я, что лишь в романах, и притом в плохих, бывают женщины, ради которых человек готов пожертвовать всем — дружбой, родными, отечеством, самой жизнью. Но ныне, кажется, начинаю верить. И страдаю. Шасс перестал быть откровенен со мной. Разумеется, я тоже молчу о том, что со мной происходит. Но опасаясь, что он догадывается.

...Опишу вчерашнее происшествие как было. Ибо смысла его я не знаю еще. Верховая прогулка по ее приглашению. Шасс, я и еще трое мужчин, из коих один — ее кузен, г-н фон Крефельд, постоянно (и нередко к моей досаде) ее сопровождающий. Две дамы, ее компаньонки. И, конечно, она... прекраснее, чем когда-либо, в черной с бисером амазонке, розовая от возбуждения и от осенней свежести. Светлые волосы ее с рыжеватым отливом волной спускаются на плечи...

Молодость моя располагает дам к некоторой фамильярности. Они этим слегка забавляются, а что мне остается делать? О холодном достоинстве Шасса я могу только мечтать, да неспособен я к нему и боюсь, не буду никогда способен. Обе компаньонки довольно милы, хоть неопределенного возраста и нации. Последнее, впрочем, относится и к г-же фон Г. Она вдова прусского тайного советника, но сама наполовину итальянка, наполовину француженка. Муж ее умер тому три года, оставив весьма расстроенное состояние.

Погода чудесна, лес весь светится. Парки здесь обширны и отменно содержатся.

Шасс и она опередили нашу группу, остальные тактично оставили их наедине. Ревнивые мысли не давали мне покоя. Чем более я их гнал, тем злее они жалили. Сам для себя незаметно свернул я в боковую аллею и вдруг оказался один, о чем вовсе не сожалел. Издали женский голос: Nicolas-a-a! Я не отозвался. Так прошло, может быть, полчаса. Внезапно слышу шум ветвей позади и оглядываюсь. На полянку вылетает ее жеребец, весь в мыле. Сердце мое замерло, я не знал, что сказать. Она улыбнулась самой своей милой улыбкой, чуть озорной, что ей так к лицу.

— Пусть бедный Альтон немного отдохнет. Пройдемся немного.

Я соскочил с лошади и помог ей. Лицо ее было в двух дюймах от моих губ, прядь волос коснулась меня. Голова моя закружилась, я что-то пробормотал и, уверен, покраснел как рак. Избавлюсь ли я когда от этой слабости? Мы пошли молча рядом, ведя лошадей на поводу.

— Вас не заинтересовала записка, которую вы тогда сожгли по моей просьбе?

— Мадам, вы меня оскорбляете!

— Ах, как мы горды! Это и подобает столбовому дворянину. Кажется, так это у вас называется? А между тем эта записка касалась вас.

— Меня?

— У вас есть бумага и карандаш?

Я достал свою записную книжку, Оленькин подарок. Она положила ее на седло спокойно стоявшего Альтона.

— Вот копия того, что вы сожгли.

Я прочел неровные строчки: «Мадам, я вынужден просить вас срочно приехать ко мне. Я жду вас с делом, не терпящим отлагательства. Простите, но иначе я не могу поступить. И пожалуйста, отделайтесь предварительно от г-на Истомина, который проявляет к вам, мне кажется, излишний интерес».

Подписи не было. Я вопросительно посмотрел на нее.

— Это писал Фредерик.

Кровь бросилась мне в голову. Кузен!

— Но...

— Ах, молчите, Nicolas, молчите! Он имел основания вызвать меня.

— Но...

Она закрыла мне рот рукой. Перчатка пахла тонкими духами и конским потом.

— Не спешите все узнать. Я, например, знаю слишком много и страдаю от этого. И верьте: я никогда не попрошу вас сделать что-либо недостойное. Ах, Nicolas, если бы вы могли понять...

— Я могу, я хочу понять!

— Нет, нет, не теперь! Помогите мне сесть в седло.

Мне кажется, я видел на ее лице замешательство, и страх, и еще что-то. Она ускакала, а я остался на месте, обуреваемый тревогой и сомнениями. Не знаю, сколь долго я там простоял.

...Визит господина Фредерика! Послан ли он ею? Не думаю. Нетрудно понять было, что его беспокоит письмо, сожженное мною.

— Вы должны извинить мою кузину, г-н Истомин. У нее всегда, знаете ли, были странные фантазии.

— Помилуйте, г-н Крефельд, мне не в чем извинять ее.

— Она с детства любит всяческие наивные тайны, легкие интриги и то, что англичане называют practical jokes¹. Покойный супруг был постоянным предметом ее проделок, вполне невинных, впрочем.

— Г-жа фон Г. очаровательна. Мне доставляло бы искреннее удовольствие быть, как вы говорите, предметом ее проделок.

— Ах, г-н Истомин, я непременно передам эти слова Мари. Она будет очень довольна, я уверен. Но главным образом я пришел извиняться не за нее, а за себя. В зло-

¹ Мистификации (англ.).

счастной записке, которую она дала вам прочесть, упоминалось ваше имя.

Я почувствовал, что краснею. Его же лицо оставалось безмятежным.

— Поверьте, у меня и в мыслях не было задевать вас. Мне просто надо было срочно переговорить с Мари по семейному делу и почему-то взбрело в голову, что она может приехать с провожатым, который помешал бы нам говорить. Сам не понимаю, почему я назвал ваше имя...

— Я вполне удовлетворен вашим объяснением, г-н Крефельд (надеюсь, в моем тоне было довольно холодности!). Мне кажется, следует забыть весь инцидент.

— О, я только этого и хочу, г-н Истомин! Я в восторге, что вы меня правильно поняли. Вы благородный человек. Я очень хотел бы быть вам чем-то полезным. Вы не собираетесь посетить Париж?

— Я на службе и, к сожалению, себе не принадлежу.

— О да, я знаю, что г-н Сперанский вас высоко ценит и, несомненно, с полным основанием. Если вам все же придется быть в Париже, мои рекомендации могли бы помочь вам в знакомстве с тамошним светом. Мы с кузиной ведь больше парижане, нежели берлинцы.

— Я непременно воспользуюсь вашей любезностью, если представится случай.

В таком духе разговор продолжался добрых полчаса. Я остался в уверенности, что г-н Фредерик — человек весьма хитрый и, может быть, опасный. Зачем она держит его при себе? По каким семейным делам он ее вызывал и таким тоном?

Г-ну Фредерику на вид лет тридцать. Он изящный блондин, высок и строен, отлично одет и благоухает парижскими духами. Что скрывается за этим фасадом?

...Tête-à-tête с нею на балу у французского посланника. Дружба к Шассу и почти полная уверенность, что она его любовница, сковывают и мучат меня. Надолго ли хватит моей выдержки? Она сердечна и доверчива.

Или это тоже одна видимость? Но нет! Я не ребенок, чтобы так обманываться.

— Г-н фон Крефельд сказал, что звал вас тогда по срочному семейному делу. Надеюсь, ничего плохого?

— Семейному? Ах да, письмо от наших парижских родственников. Дело о наследстве после смерти мужа. Спор с его детьми от первого брака... Но оставим это совсем неинтересное дело. Скажите лучше, вы по-прежнему дружны с капитаном Шассом?

— Почему вы об этом спрашиваете?

— Мне кажется, ваша дружба стала менее тесной. Отчего? Он прекрасный человек. А вы, Nicolas, а вы... Так что же случилось?

— *Madame... Marie...*

Я осмелился произнести ее имя! Еще одно мгновение, и я бы все сказал: что люблю ее, что ревную ее безумно к Шассу, к Фредерику, ко всему свету. Но она вдруг воскликнула:

— А вот и сам капитан Шасс! Мы говорили о вас и, представьте, оба хвалили.

Шасс поклонился не без иронии. Я молчал. Слова, которые я едва не произнес, жгли мне язык...

24. Жак Шасс — Истомину

Дорогой друг! Я прошу вас быть моим секундантом в поединке с Крефельдом. Это может показаться вам странным и даже оскорбительным, но я не могу теперь открыть причину ссоры. Разумеется, вы вправе отказаться, если мое слово, что это — дело чести, недостаточно. Мы знакомы недолго, но я искренне полюбил вас, Nicolas, и надеюсь, что могу рассчитывать на известную взаимность. Если что-то нас в последнее время разделяло, то это, поверьте, лишь стечение обстоятельств, ни от меня, ни от вас не зависящих. В жизни человека бывают случаи, когда он вынужден поступать вопреки своим принципам, не говоря уж о своих интересах. В таком положении я ныне. Если до трех часов пополудни сегодня

я не получу вашего ответа, я буду считать, что вы не сочли для себя возможным принять на себя те обязанности, о которых я пишу.

25. Из дневника Николая Истомина

Все кончено. Фредерик умер от раны. Притом он оказался вовсе не ее кузенком. Шасс под арестом. А она... Итак, она шпион Талейрана, англичан и еще бог знает чей. Весь ее роман с Шассом имел единственную цель — завладеть через него важными документами и, передав их английским агентам, скомпрометировать герцога де Виченца и лиц, кои ныне у власти в Париже. Все это только политическая интрига. Сколь жестокий урок для меня! Слишком жестокий!

Самое ужасное то, что я люблю ее и буду любить, кем бы она ни оказалась — сатаной, исчадьем ада, отравительницей. Где она теперь — неизвестно.

Благодаря г-же фон Г. в руки негодяя и тех, кто стоял за ним, попали эти документы. Шасс обнаружил пропажу их из кованого ящика, который стоял у него в спальне. Она (она!), возможно, украла ключ, с которого была сделана копия. Шасс дал себе сутки на поиски. Бросившись к г-же фон Г., узнал он, что она уехала неизвестно куда. Кузена не оказалось дома.

Утром следующего дня Шасс является к герцогу с откровенным признанием. Во время разговора докладывают о Крефельде. Герцог просит Шасса перейти в соседнюю комнату, откуда он все может слышать. Негодяй шантажирует Коленкура. Он предъявляет копии украденных документов и советует ему уйти в отставку во избежание скандала. В этом случае дается гарантия, что компрометирующие лично Колёнкура документы не будут преданы гласности. Коленкур просит время на размышление. Крефельд соглашается и выходит. Шасс, не возвращаясь в кабинет, прыгает из окна. Он встречает шантажиста у двери и публично дает ему пощечину.

Стрелялись на рассвете. Секундантом Крефельда был какой-то неизвестный мне прусский офицер. Крефельд

выстрелил первым и промахнулся. Шасс уложил его пулей в грудь. Он прожил около двух суток. Бред, который слышали врачи и сиделка, не оставляет сомнений, что он был в близких отношениях с г-жой фон Г.

Сразу после дуэли Шасс явился к герцогу и отдал себя в его руки.

26. Из мемуаров Коленкура

...Одним из самых опасных агентов Талейрана была некая госпожа фон Г., молодая вдова прусского вельможи и отчаянная авантюристка. Красота этой женщины была поистине равна ее уму и ловкости. Впрочем, ее авантюры не дали ей счастья. Как я слышал, она внезапно скончалась в Лондоне через несколько месяцев после описываемых событий.

Талейран хотел держать в своих руках нити переговоров с русскими и путем искусного хода показать императору Александру и Сперанскому, что именно он — тот человек во Франции, с которым им следует иметь дело. Вместе с Даву они образовали опасный союз сабли и яда. Талейран упорно искал способ ослабить влияние Маре. Он имел тайную связь с английскими агентами через г-на фон Крефельда, который выдавал себя за кузена г-жи фон Г. Этот Крефельд был мужчина в цвете лет и авантюрист едва ли не больший, чем она. Он имел какую-то загадочную власть над госпожой фон Г.

Будучи в центре интриги, Крефельд и стал первой ее жертвой. Его убил на дуэли французский офицер, весьма дельный и честный человек, у которого он и г-жа фон Г. хитростью выманили или похитили конфиденциальные документы. Этот офицер питал несчастную страсть к г-же фон Г. и сделался невольным орудием в руках негодяев. Он имел мужество признать свою вину и не просить снисхождения.

Между тем беседы наши со Сперанским продолжались. Зная его со времен Эрфурта и Петербурга, я вновь нашел в нем подлинного государственного мужа и здравомыслящего человека. Впрочем, полученные им инст-

рукции, видимо, оставляли ему мало простора для самостоятельных действий. Затрудняла его и недавняя опала. В любой момент мог он ждать курьера из Петербурга с приказом о возвращении. И он не знал бы, что ему предстоит: может быть — Сибирь?

Однако первым был отозван не он, а я. Уже с середины октября перестал я получать ответы на мои донесения. Злодейское убийство короля Жозефа и выступление Даву так обострили борьбу партий и замешательство в Париже, что обо мне сначала просто забыли, а вспомнив, дали инструкцию просить об отсрочке переговоров.

1 ноября Даву послал свой ультиматум правительству. Не получив на него в установленный срок ответа, он двинул три дивизии через границу на Рейне. Гражданская война, о которой с ужасом говорили уже несколько месяцев, стала действительностью. Крайние обстоятельства рожают новых вождей. Доселе никому не известный майор Гамлен возглавил разрозненные и обескураженные войска, сохранившие верность правительству. Даву понял, что без сражения и больших жертв он не войдет в Париж, и еще раз предпочел выждать. Но это осторожное решение, которое в других обстоятельствах было бы мудрым и благотворным, имело трагические последствия.

В Париже, где среди простого народа царил голод, возбуждение достигло крайней степени. Его искусно раздували крайние республиканцы, создавшие тайное общество, и, возможно, не одно. Приехав в эти дни в Париж, я впервые услышал имя Марка Шасса, этого нового Бабефа. По странному совпадению, он оказался родным братом офицера, который убил Крефельда.

27. Г-жа фон Г. — Николаю Истомину

Мой милый Nicolas! Я получила известие о смерти бедного Фредерика. Это ужасно. Завтра я еду в Голландию, а оттуда постараюсь перебраться в Англию. Едва ли судьба нас еще раз сведет в этой жизни. Зачем я в

таком случае пишу? Вы презираете меня, я заслужила ваше презрение. И все же я не могу исчезнуть из вашей жизни, ничего не объяснив.

Милый Nicolas! Эти два месяца вы были для меня самым дорогим и близким человеком, хотя мы по-настоящему ни слова не сказали друг другу. Но я знаю, что вы это чувствовали. Как я хотела и как боялась, что вы скажете мне слова, которые живут в мечтах каждой женщины! Если бы я принадлежала себе, если бы была свободна в своих чувствах и действиях! Но слишком тяжёлый груз моих страстей и ошибок.

Да, вы вправе презирать меня. Я сознательно завлекла Шасса и устроила похищение документов. Я не любила и не могла любить его. Нечего говорить, что я не любила и Фредерика, он был лишь предписанный мне помощник. А вас... Не заставляйте меня говорить то, что женщине не свойственно говорить первой. Впрочем, теперь все равно... Поверьте, я не дьявол, я только несчастная женщина, которую судьба лишила простых радостей, доступных другим.

Я не буду больше вам писать и не дам адреса. Мы оба должны идти своим путем. Если бы вы знали, как мне сейчас грустно, как страшно. Страшно жить дальше.

Но что делать? Милый, милый Nicolas! Живите, наслаждайтесь жизнью и вспоминайте иногда бедную Marie. Или не вспоминайте, может быть, так лучше. Пусть вас полюбит другая женщина, достойная вашей прекрасной души. Я никогда не говорила, что мой ребенок, мой единственный сын в руках у людей, которые не поколеблются использовать это, чтобы принудить меня к покорности. Прощайте, храни вас бог.

28. Истомин — Жаку Шассу

Вот копия письма, которое вам, возможно, мучительно будет читать. Но пусть оно будет для вас исцеляющим ножом хирурга. Для меня это письмо — сладкий яд, который может убить. Мне нечего добавить: вы сами

все видели и понимали. Может быть, самое лучшее будет никогда не упоминать между нами ее имя.

Поговорим о вашем положении. Ваши друзья полагают его трудным, но советуют спокойно ждать. Военным властям теперь не до вас, а герцог наверняка не будет добиваться трибунала. Здесь прошел слух, что он получил инструкцию выехать в Париж.

В моей судьбе тоже произошел поворот, на который я, к счастью, не имею оснований жаловаться. Обязан я этим Сперанскому. Мое участие в дуэли не удалось скрыть, да я и не надеялся на это. Сперанский нашел, что мне неудобно после этого оставаться в Берлине, и посылает меня в Париж. Специальным курьером к князю Куракину! Вы можете представить себе мою радость: быть там в это поистине необыкновенное время!

Известные вам события последних недель отвлекли меня от обычных моих мыслей. Ныне снова надеюсь я быть полезным моему отечеству. Как? Я намерен постепенно и сознательно готовить себя к тому, чтобы наилучшим способом помочь великому делу освобождения рабов в России. Я еще молод. Чтобы собрать людей, готовых отдать себя целиком этому делу, я сам должен еще многое понять, многому научиться. Если мне не удастся ничего сделать, это будет зависеть не от меня, а от обстоятельств.

Вы много рассказывали о вашем старшем друге г-не Леблане. Я был бы вам премного обязан, любезный Шасс, если бы вы написали ему несколько строк обо мне. Полагаю, что его мнения и советы были бы для меня ценными.

Моя сестра, которой я писал о нашей дружбе, шлет вам самые добрые пожелания. Молодой офицер, друг моего и ее детства, сделал ей предложение. Она счастлива. Жизнь идет своим чередом.

29. Из донесения кн. Куракина

Начало декабря

Прибывший намерен с бумагами из Берлина специ-

альный курьер надворный советник Истомин сообщает, что дорогой наблюдал он многочисленные войска маршала Даву, готовящиеся, по всей видимости, идти на Париж. Сам князь находится ныне в Ахене, где образовалось вокруг него некое подобие двора из высших офицеров, а также прибывших из Парижа видных его сторонников и германских государей.

Раскрытие в английских газетах важных секретов переговоров парижского двора с нами, кои вел в Берлине Коленкур, вызвало для правительства немалые затруднения. Влияние герцога де Бассано в регентском совете и в правительстве весьма приметно упало, чему искусно князь Беневентский способствовал. Всеобщее внимание здесь привлекает, однако, новая личность — майор Гамлен, на прошлой неделе сделанный сразу полковником и военным комендантом Парижа. Двор и сенат полагают в нем и его войске защиту как от Даву, так и от черни парижской.

30. Истомин — Жаку Шассу

Париж, середина декабря

Я набит впечатлениями, как мешок развезшего торговца — всякой всячиной. Ехал я долго и тяжело. Дороги небезопасны от разбойников, дезертиров и бродяг всякого рода. Лошадей достать трудно. Разные власти много раз проверяли мой дипломатический паспорт и задерживали.

Париж гудит, подобно растревоженному улью. Время от времени слышна стрельба. Воздух пахнет дымом, все время где-то что-то горит. Людей в гражданском платье, захваченных с оружием, расстреливают на месте. Новый военный комендант пытается железной рукой навести порядок.

Случилось так, что, зайдя к г-ну Леблану, я застал там вашего брата. Оба они приняли меня с большой сердечностью и расспрашивали о вас. Брат ваш, как мне кажется, находится в центре событий, но со мной был сдержан и говорил мало. Однако я понял: его волнует

вопрос, не вмешается ли Россия военной силой, если во Франции начнется революция. Мне пришлось много говорить о характере императора Александра, о том, как делается в России политика.

Брат ваш — замечательный человек, он внушает уважение и, пожалуй, страх. Он не потерял надежду видеть вас «среди наших» (так он выразился). Г-н Леблан с улыбкой сказал, что он в этом сомневается. Должен сказать, я тоже сомневаюсь.

То, что произошло со мной в Берлине, кажется мне сейчас странным сном. Но... я сам предложил вам молчать об этом. Молчу.

31. Из дневника Николая Истомина

...Императрица с сыном выехали в Фонтенбло под охраной полка старой гвардии. Маре лишился власти, но упорно цепляется за остатки ее. Как говорят, Талейран хочет выступить посредником между полковником Гамленом и Даву. Нынче узнал я от верных людей, что он тайно выехал в Ахен. Г-н Леблан сказал: «Старая крыса бежит с корабля. Надо ждать бури». Последние дни подлинно похожи на затишье перед бурей.

...Г-н Леблан выяснил через своих друзей, что офицер генерального штаба повез в Берлин приказ Бертье об освобождении Шасса. Мы оба порадовались и выпили по стакану вина за его здоровье. Сын Шасса живет теперь у Леблана, ибо лицей их закрыли по причине беспорядков среди учащихся.

...Мысли о ней. Ночью лежу с открытыми глазами и перебираю все подробности, встаю, зажигаю свечу и письмо перечитываю. Потом начинаю обдумывать фантазию — я еду каким-то образом в Лондон, нахожу ее там... Этак можно с ума сойти. Я и сошел бы, кабы время было. Но утром меня так захватывают события, что волей-неволей позабываю ночные мысли.

...Новая встреча с Марком Шассом у Леблана. На этот раз у него больше доверия ко мне. Запишу суть разговора.

— Мне кажется, страсти несколько успокоились. Может быть, народ устал и смирился?

— О нет, напротив! Нынешнее успокоение — действие нашей организации. Мы теперь знаем, что народ в Париже поднимется, когда придет время. Агенты наши готовят его к решительному часу. Ныне же мы избегаем столкновений с властями, чтобы сберечь силы. Мы связываемся также с другими городами. В нужный момент...

— Этот момент еще не настал?

(Тут я впервые увидел, как он улыбается. Только глаза улыбнулись. Лицо же, заросшее густой бородой, точно и не шелохнулось. Губ под бородой не видно.)

— Вы не пропустите его, этот момент, даже если бы захотели.

— Вы надеетесь свергнуть династию Бонапарта?

— Мы свергнем монархию и военный деспотизм и восстановим республику 93-го года.

— И террор тоже?

— Если понадобится, и террор.

— Но ведь террор и привел к гибели революции?

— Нет. Не террор, а злоупотребление им. Мы извлечем уроки.

— Ваши планы заканчиваются восстановлением республики?

— Нет, начинаются. Республика должна открыть народу путь к подлинному обществу равных. Равенство на деле, а не на бумаге! Это должно быть общество, какого еще не было. Возможно, многие не смогут сразу принять этот путь. Даже из тех, кто будет сражаться против деспотизма. Чтобы республика не выродилась в господство богатых, надо продолжать революцию.

Когда Шасс ушел (потихоньку, через заднюю дверь), Леблан мне объяснил, что он и его друзья следуют учению некоего Бабефа, который в годы революции принял имя Гракха и погиб под ножом гильотины незадолго до консульства. По Бабефу, полноправными гражданами в его государстве будут те, кои *полезным* трудом занима-

ются. Таковым признается труд рукодельный. Что до занятий науками и обучения молодого поколения, то люди этих профессий должны будут доказать полезность своего труда. Но вот вопрос: кто будет судить?

...Кажется мне, что момент, о коем говорил Шасс, настал. Нынче по всему городу ходят прокламации, к восстанию призывающие. Из окна вижу я людей с оружием. О роковые минуты мира! Надеваю шинель (на дворе холодно, дождь со снегом) и иду...

32. Из донесения кн. Куракина

...Власть в Париже находится ныне в руках людей, именующих себя Временным революционным правительством. Оное правительство имеет в составе своем нескольких сенаторов, известных либеральными взглядами и не ладивших с Наполеоном и Регентским советом. Но, по всеобщему мнению, люди эти взяты в правительство лишь для прикрытия, иные, возможно, и не по своей воле. Подлинную власть имеют новые якобинцы крайнего толка во главе с неким Марком Шассом. Имя сие до последних дней никому не было известно. Как говорят, он человек простого происхождения, без всякого состояния, но с образованием и способностями.

Младенец император Наполеон II, его мать-регентша и Регентский совет объявлены низверженными, и провозглашена республика. Посольствам иностранных держав указано с места отнюдь не трогаться и со двором, в Фонтенбло пребывание имеющим, ни в какие сношения не вступать. По договоренности с послом Австрии заявил я новым властям, что мы вынуждены силе подчиняться, но правительство парижское *de jure* отнюдь не признаем. Около посольского дома со вчерашнего дня выставлена вооруженная стража.

Чины посольства, из своих домов выходявшие, сообщают мне, что город от сражений, два дня и две ночи продолжавшихся, весьма пострадал. Трупы убитых свозят на пустыри и там сжигают, отчего распространяется ужасный смрад.

Не думаю я, что какому-либо российскому посольству в иностранной державе такое пережить приходилось. Помимо страха насилия, пожара или чего подобного, терпим мы тяжкие лишения от недостатка съестных припасов. Поелику лошадей кормить нечем, их забили. Мясо лошадиное все в Париже охотно в пищу употребляют. Думаю, что и нам придется так поступать.

Положение мятежников и их правительства весьма затруднительно, о чем они сами в воззваниях своих пишут. Справедливо, что часть войск к ним присоединилась, но у регентского правительства войск существенно больше. Притом, по слухам, к Парижу движутся армии Даву и Сульта.

Чины посольства все живы и свой долг исполняют, за исключением лишь надворного советника Истомина, тому три недели из Берлина от его превосходительства г-на Сперанского прибывшего. Как докладывают мне, Истомин в день 26 (14) декабря, когда вооруженный мятеж начался, из дому вышел и более не воротился.

33. Леблан — Жаку Шассу

Я пишу тебе, мой мальчик, с болью в сердце. Наш молодой русский друг погиб. Не смог я выполнить твою просьбу и уберечь его. Единственное утешение, если это утешение, в том, что погиб он в числе многих сотен, может быть, тысяч людей. Мы, то есть я, твой сын и Аннет, живы и невредимы.

О как дорого обходится свобода! Сколько молодых жизней! Порой мне стыдно, что я, старик, жив, а они погибли.

...Когда его ранило картечью, которую эти негодяи применили против безоружной толпы, в кармане у него нашли мой адрес. Незвестные люди принесли его ко мне, и через час он скончался. Врача мы не смогли найти, да он бы и не помог. Бедный юноша истекал кровью. За несколько минут до смерти он пришел в себя и стал что-то говорить, надо думать, по-русски. Потом опомнился вполне и очень внятно сказал: «Сообщите матери

и сестре». Помолчал и добавил: «И Мари». Возможно, это его невеста?

Мы похоронили его вблизи могилы Элизы. Твой брат, несмотря на его нынешнее положение, пришел на похороны и бросил на гроб первую горсть земли. Накануне неожиданно ударил мороз, земля была твердая. Наверное, такова она зимой на его родине.

Я не знаю, что с нами будет. Поленницы дров, которые в этом году меньше обычного по причине летних смут, охраняют вооруженные патриоты. Охраняют от того самого народа, от женщин и детей, ради которых они сражались и умирали неделю назад. Многие дороги в Париж блокированы войсками старого правительства, и почти нет никакого подвоза съестных припасов. Нужда толкает народ на революцию, а революция обрекает на нужду.

Твой брат и его друзья не теряют мужества. У богатых забирают запасы продовольствия и теплой одежды и раздают беднякам. Посланы отряды, которые закупают (а нередко, как я слышал, забирают) продовольствие у крестьян окрестных деревень. Временное правительство надеется на помощь из других городов.

В эти грозные дни, мой мальчик, ты сам должен найти свое место. Моя старая голова не может дать тебе совета. Я постараюсь лишь сберечь твоего сына.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ

1. Из донесения русского посланника в Саксонии

Дрезден, 7 июня (26 мая) 1812 г.

...Внезапная кончина императора французов произвела здесь первоначально большое смятение. Руководствуясь общепринятыми правилами этикета, я на другой день после этого несчастного события явился к герцогу де Бассано и выразил ему свое соболезнование. Я добавил, что беру на себя смелость считать это выражением чувств моего государя. Однако герцог принял меня под-

черкнуто холодно. На мой вопрос о возможности аудиенции у ее императорского величества регентши он отвечал уклончиво. Принимая во внимание такое отношение французских официальных лиц, я ограничил самыми необходимыми знаками вежливости мое участие в состоявшейся вчера церемонии отправления траурного кортежа.

На седьмой или восьмой день после кончины императора сюда прибыл из армии вице-король Италии принц Евгений, а ранее или одновременно с ним некоторые другие военачальники. В течение двух дней принц до поздней ночи совещался с маршалом Бертье, генералом Коленкур, герцогом де Бассано и другими лицами. Неоднократно в этих совещаниях принимала участие императрица. Как я имел возможность узнать от верных людей, на совещаниях были большие баталии и дело доходило до громких криков. Надо думать, споры шли о военных приготовлениях покойного императора на границах наших.

Вчера оглашена прокламация о назначении вице-короля командующим всеми войсками к западу от Рейна и об образовании ему в помощь Верховного совета армий из командиров корпусов и прочих видных генералов. Князь Невшательский остается начальником штаба.

Сегодня утром вице-король и князь со свитой отбыли к армии. Уверяют, что они направляются в Кенигсберг. По моему разумению, французы готовятся перейти нашу границу не позднее конца июня, чтобы иметь благоприятные условия для летней кампании.

2. Статья из энциклопедии Ларусса

БОГАРНЭ (Евгений де) родился в Париже в 1781 г. Сын генерала Александра де Богарнэ, гильотированного в 1794 г. по приговору революционного трибунала, и Жозефины Таше де ля Пажери, во втором браке жены генерала Наполеона Бонапарта. Служил в армии под началом Бонапарта, участвовал в итальянском и египетском походах. В 1804 г. — бригадный генерал, в 1805 г.

*назначен вице-королем Италии, в 1806 г. усыновлен императором с титулом принца империи. В том же году женился на Августе-Амелии, дочери короля Баварии. Со славой участвовал в войне 1809 г. с Австрией. В январе 1810 г. вызван в Париж, чтобы подготовить свою мать к разводу с императором. Повиновался с безмолвной покорностью, чем вызвал в публике немало нареканий...*¹

При формировании Великой армии в 1812 г. сначала командовал четвертым корпусом, состоявшим из французских, итальянских и баварских войск. После внезапной кончины императора Наполеона принял главное командование армией и возглавил несчастный поход в Россию.

3. Воззвание к армии

Солдаты! Вам выпала великая честь осуществить замыслы нашего императора. Слепой рок оборвал его жизнь. Но имя его поведет вас на врага. Россия упорно нарушает условия мира, которые император заключил с ней в Тильзите. Она не желает дать объяснение своим действиям и требует удаления наших войск за Рейн.

Неужели мы оставим на ее произвол наших друзей и союзников в Германии и в Польше? Нет! Меч судьбы занесен над Россией, и ваши руки держат этот меч. Солнце Аустерлица будет освещать нам путь. Вас поведут в бой испытанные полководцы императора. Мы перейдем границу и будем вести войну на земле врага.

Победа в этой войне надежно оградит Европу от посягательств на ее свободу. Эта победа окончательно подорвет положение коварной Англии и покроет французское оружие новой бессмертной славой. Итак, под знаменем, которое дал вам император, вперед — к победе!

Евгений

4. Ольга Истомина — Николаю Истомину в Петербург

Владимирская губ., конец мая 1812 г.

Месяц не писала я тебе, наш милый Николенька.

¹ Подлинный текст сокращен и несколько перестроен.

Время в деревне тянется медленно, и кажется, что прошла целая вечность. Маменьке стало лучше — может быть, от погоды теплой и сухой. Черемуха отцвела, сейчас дивно цветет вишня. Яблони тоже в цвету. Сад весь белый с розовыми прожилками. Вчера ходили мы с маменькой и няней на папенькину могилку. Все там зелено и мирно. И слезы были светлые, тихие...

А третьего дня заезжал к нам по дороге из города в свое имение г-н Русаков (помнишь его: такой румяный, с черными баками и всегда веселый), сказал, что в столицах все войны ждут. Наполеон, мол, поклялся Россию извести. Оставил нам газеты, маменька делает вид, что их читает. Да что из газет поймешь? Хоть бы ты нам объяснил, к чему дело идет. Приедешь ли летом, как собирался? Я тебя очень жду! Хочется обо всем поговорить. Помнишь наши секретные разговоры у няни в светелке? Маменька нас, бывало, не докличется, а папенька говорил: «Опять военный совет?» Очень мне не терпится, чтобы ты об NN своими словами рассказал, в письмах ведь все как-то не так.

Книжки я твои читаю прилежно. Пробовала Тасите, но очень все это страшно и мрачно. Например, как Нерон устраивал гибель своей родной матери. Не могу такое читать.

Мы совсем не знаем, что думать об отставке Сперанского. Может быть, это нехорошо, но мы с маменькой больше думаем не о нем, хоть нам жаль его искренне, а о тебе и твоей службе. Ты не раз писал, что он желает добра России и ты хотел бы всегда работать с ним. Чем же он мог прогневить государя? Юлия Павловна, вице-губернаторша, была у нас на прошлой неделе и рассказала, что его провезли через Владимир с жандармом. Теперь он в Нижнем. Ты писал, что у него дочь — ангел. Что же с ней? Господи, почему в мире столько зла и жестокости?

Маменька целует тебя тысячу раз и говорит, что в следующий раз обязательно напишет тебе сама, а сейчас

ей трудно. Она благословляет тебя снова образом Владимирской божьей матери. Наша Матрена Ивановна тебе кланяется. Старая она совсем стала, и ноги у нее пухнут. А сама исхудала страшно. К маменьке доктор из губернии приезжал, я его попросила Матрену посмотреть. Сказал, долго не протянет. Я поплакала. Внука ее Петра в солдаты забрали. Маменька не хотела, да так мир решил.

А что Андрюша Татищев, mon pauvre admirateur? ¹ Если он в Петербурге, вот для него засохшая веточка черемухи, а для тебя сирень и сестринские поцелуи, милый Николенька. До свидания, хочется думать — скорого.

5. Из дневника Николая Истомина

Петербург, июнь — июль 1812 г.

...Война с французами загорелась. Боже праведный и всемогущий! Благослови Россию и Александра! Весь город читает рескрипт государя из Вильны: «Французские войска вошли в пределы нашей империи...» Не могу ничем заниматься — ни службой, ни делами, ни NN. Бродил по городу.

...Какой рок влечет сию нацию? Казалось, воля одного человека толкает ее и к славе и к гибели. Но вот его нет, однако та же неодолимая сила гонит французов на поле брани. Много думал об этом до боли в голове. Известий из главной квартиры нет. Полагают, что сражение или уже было, или должно быть со дня на день. Господи, дай победу нашему оружию!

...Думал о покойном отце. Какой совет он дал бы мне теперь? Служба в комиссии, и ранее меня обременявшая, ныне теряет всякий смысл. Тому две причины: не главная, но существенная — изгнание М. М. С.²; вторая, главная, — война.

Делаю повседневные дела, но голова занята другим.

¹ Мой бедный обожатель (фр.).

² Сперанского.

Много говорят об ополченцах. Если идут все, то что же я? Думается мне, в сей войне российское воинство не будет разбирать сословий, это война подлинно народная. Может быть, нужна именно такая война, чтобы начать дело освобождения рабов?

...Наконец, наконец! Принято два великих решения: я женюсь и я иду в армию. Вернее, я делаю предложение NN и я прошусь в адъютанты к графу Алексею Борисычу. Конец моих мучительных сомнений отпраздновали пуншем у Корсакова. Что было после пунша и как добрался домой, совсем не помню. Утром проснулся больной, однако вынужден был идти на службу: сегодня записка моя по уголовному уложению отправляется в Государственный совет. Одно утешает, что через неделю или две...

...Может ли быть счастье больше моего? NN меня любит! Голова моя кружится от восторга. Слезы блистали в ее прекрасных очах... Лицо ее, одухотворенное любовью к отечеству и, смею думать, ко мне, было прекраснее греческих богинь. Я еду в армию, она будет ждать меня. Теперь предстоит мне разговор с ее матерью.

6. Николай Истомин — сестре

Петербург, начало августа

Сестра, граф Алексей Борисыч (он — наша дальняя родня по отцу, ты его в детстве видела) берет меня в адъютанты. Ему поручена дивизия, которая теперь собирается в Твери. Я выезжаю вместе с ним через два или три дня. От него поклон маменьке.

Я пишу ей особо и еще раз прошу благословения. Для тебя же вот копия с моего письма к матери NN и с ее ответного. Скажу тебе, что несколько дней после счастливого объяснения я был сам не свой от радости. Если бы ты знала, какой она ангел и умница! Но та-а-а! Как видишь, мы должны ждать ее решения. Сколько ждать? С болью душевной я собираю имущественные бумаги для ее сведения о состоянии моем. И это теперь,

когда отечество в огне и в крови, и, бог знает, вернусь ли я с войны. Она не хочет, чтобы мы виделись до моего отъезда. Я вынужден повиноваться, хотя одному богу ведомо, как мне это тяжело. Вот никогда не думал, что я, с моей рассудочной натурой, могу так полюбить.

Поговорим о другом.

Когда говорят пушки, молчат музы. Молчат и реформаторы. Я надеюсь, что после победы час Сперанского настанет, и он вернется оправданный от низкой клеветы. Ведь государь проникателен и добр. Вы, конечно, знаете, с каким восторгом встречал его народ в Москве. Боюсь только, боюсь я за Ростопчина! Тот ли он человек, какой ныне нужен в Москве? Оттуда пишет мне Корсаков, уехавший дней десять назад, что Ростопчин творит жестокие расправы с тамошними иностранцами. Какой-то француз-повар за неосторожное слово высечен публично и отправлен в Сибирь. Другой ожидает кнута. Мне это противно: если хотят внушать народу ненависть к врагам, есть другие средства.

Здесь чуть не каждый день гремят грозы. Суеверные люди гадают, что это предвещает. А военная гроза гремит своим чередом. Никогда еще Россия такой войны не вела! Даже здесь, в Петербурге, где народ по-настоящему увидеть-то трудно, все это чувствуют. Федор (он поедет со мной, чему рад сверх меры) сказывал, что говорят так: мы их и с Наполеоном бивали, а уж без него и вовсе. И то правда: иных генералов, кои на нас идут, еще Суворов бивал. Няньку Матрену жаль мне очень. Сколько раз, уже взрослым человеком, думал я: эх, если б можно было побежать и спрятаться от всех бед и зол у нее на теплой лежанке!

В заключение вот тебе свежий анекдот из дипломатических сфер. Касается он нашего нового союзника — наследника шведского престола Бернадотта. Ты, наверное, слыхала, что он в прошлом brave французский генерал времен революции, с Наполеоном в походы ходил. Шведы взяли его в наследники к бездетному и полусу-

масшедшему королю, чтобы угодить Наполеону. А теперь он, вишь, противу французов идет: шведы без торговли с Англией обойтись не могут. Так вот, с некоторых пор весь Стокгольм заинтригован: как наследник ни болен, а врачам не позволяет себя осматривать. Всегда наглухо застегнут до шеи. Стали ходить разные сплетни. Недавно загадка разрешилась. На мужественной волосатой (*mille pardons!*¹) груди будущего короля неистребимая татуировка — «Смерть королям».

7. Жак Шасс — Леблану в Париж

Ковно, 28 июня

Итак, жребий брошен. Рубикон, то есть Неман, перейден. Война, вызывавшая столько сомнений и толков, началась. Впрочем, выстрелов еще почти нет: русские отошли от берегов без боя. Возможно, большое сражение будет под Вильной.

Зрелище перехода армии через Неман я не забуду до конца дней. Понтонеры за ночь навели три моста. Утром наши колонны, развернув знамена и блистая оружием, вступили на мосты. Думаю, еще никогда в истории не были собраны вместе такие массы войск.

Сегодня месяц после смерти императора. Я постепенно начинаю сживаться с этим и иной раз с горечью наблюдаю, как быстро его забывают. Но империя и армия движутся по пути, который он начертал.

На что надеется Александр?

Говорят, он уже бежал из Вильны. Его армия втрое слабее нашей. Она раздроблена на несколько частей, которые мы разобьем по отдельности. Сам царь, находясь при армии, стесняет Барклая. Возможно, известие о победе обгонит это мое письмо.

Конечно, в главной квартире есть и тревога. Все знают, что против похода до последнего дня возражал герцог де Виченца. Лишь по упорному настоянию вице-короля остался он при армии.

¹ Тысяча извинений (*фр.*).

Но он ошибается. Россия — колосс на глиняных ногах. Ее армия, набранная из невежественных крестьян, которые ненавидят своих господ, рассыплется от нашего удара. Дворяне не позволят Александру подвергать страну разорению и заставят скоро подписать мир.

Условия мира могут быть великодушны, ибо мы не стремимся к унижению России. Но ее губительному влиянию на Европу будет положен конец. Сильная, дружелюбная нам Польша станет преградой для этого влияния.

Я очень надеюсь быть к рождеству в Париже и обнять вас. Поцелуйте моего сына и расскажите ему, что я выполняю свой долг здесь, на грани цивилизованного мира. Видите ли вы моего бедного брата? Не прошло ли его печальное политическое безумие?

8. Из дневника Жака Шасса

Июль — август 1812 г.

...Черт меня подери, если я в состоянии запомнить, правильно произнести и записать эти варварские названия — литовские, славянские, еврейские и неведомо еще какие. Пески, болота, мрачные леса. Адская грязь после дождей и лошадиная бескормица. На лошадей, которые пали за три недели, можно было бы посадить целую армию.

...Герцог де Виченца удостоил меня разговора. Мы много говорили о России, которую он успел узнать и, как это ни странно, полюбить. Его благородная прямота внушает уважение. Главнокомандующий его высоко ценит, но, мне кажется, стал к нему холоднее.

...Противник уходит, искусно избегая решительного сражения. Что это — коварство варваров или обыкновенная трусость? Время от времени слышим о стычках с казаками. Немного постреляв, они уходят на своих косматых приземистых лошадях, и наши кавалеристы не могут их догнать. Эти люди точно родились в седле...

Витебск. Проклятый понос мучает четвертый день. Одно утешение: эта беда у многих, в том числе у князя Невшательского. Плохая вода, жара, грязь. Принц мрачен и молчалив. Даву расстреливает мародеров. К тому же еще удручающие известия из Испании.

...Моя жизнь вчера едва-едва не закончилась в воючей канаве у дороги, в десяти лье от Витебска. По любезной рекомендации моего генерала я был послан в корпус Удино. Со мной были два драгуна. Надо было спешить, и мы ехали рысью, несмотря на плохую дорогу.

Внезапно мой Султан валится вперед как подрезанный. Я вылетаю из седла и ударяюсь боком так, что темнеет в глазах. К счастью, драгуны поотстали на несколько шагов. Выстрелы, крики, брань. Я выхватываю оба пистолета и стреляю почти наугад в какие-то тени. Кажется, удачно: кто-то вопит. Пуля оцарапала мне щеку. Но, видно, мой час еще не настал. У Султана сломана передняя нога: на высоте фута была туго натянута веревка. Я попросил драгуна пристрелить лошадь, а сам отвернулся. К маршалу мы добрались под утро. Я был весь в грязи, письмо князя намокло. Маршал посмеялся над этим приключением.

...Составил официальное описание Смоленского сражения. Но весь ужас этих дней туда не попал. Город сожжен дотла, жители ушли с армией, погибли или разбежались. Я зашел в уцелевший собор, страшное зрелище мне представилось. На каменном полу, у алтарей, лежали и сидели сотни людей в лохмотьях, изнуренные, слабые, голодные. Многие не двигались, наверняка там были и мертвые. Плакали дети... Все же война — ужасная вещь.

...Пленных так мало, что наши командиры спорят — чьи они. Мы находимся теперь в сердце коренных русских земель. Смоленск — священный для них город. И они сами его уничтожают. Странно.

Две трети людей в России — бесправные рабы. Мо-



жет быть, надо объявить их свободными? Каково тогда придется Александру? Я слышал, что этот вопрос обсуждался у принца. Но миллионы этих людей неграмотны и темны. Трудно предвидеть последствия.

9. Протокол заседания Верховного совета армий

Смоленск, 23 августа

...Его императорское высочество главнокомандующий отмечает, что перед нами три пути: идти дальше на Москву; остаться в Смоленске и попытаться завязать переговоры о перемирии; вернуться в Вильну и заняться устройством Польши. Он предлагает членам Совета высказать свое мнение.

Маршал Бертье, князь Невшательский докладывает о состоянии войск. Он говорит, что армия понесла большие потери в последних боях и еще более тяжелые от болезней и дезертирства. Боевой дух неизменно высок лишь в гвардии. В армейских частях, особенно германских и итальянских, он серьезно упал. Высказывается по меньшей мере за длительный отдых в Смоленске с целью подтянуть резервы, укрепить коммуникации, улучшить снабжение.

Маршал Ней, герцог д'Эльхинген: «Странная логика! Если время работает на русских, надо разгромить их возможно скорее. Москва — не цель войны. Но если для разгрома русской армии придется взять Москву, возьмем ее». Герцог напоминает, что в подобных ситуациях император стремился быстрыми ударами разрубить узлы, а не ждать. По его мнению, о возвращении в Вильну не может быть и речи.

Маршал Даву, князь д'Экмюль, говорит об усталости армии и необходимости подкреплений. Считает, однако, что надо попытаться в ближайшие дни навязать русским генеральное сражение.

Генерал Коленкур, герцог де Виченца: «Ход войны подтверждает многие опасения, имевшиеся перед ее началом. Короткое русское лето на исходе. Можно ли быть уверенным, что после потери Москвы Александр

будет просить мира? Русские могут отступать хоть до Волги и Урала. Для спасения армии, а может быть, и Франции, необходимо вернуться в Вильну и начать переговоры о почетном мире».

Маршал Мюрат, король Неаполитанский, в весьма сильных выражениях говорит о тяжелом состоянии армии, особенно кавалерии. Это горько, но надо остановиться в Смоленске. Маршал Лефевр, герцог Данцигский, командующий старой гвардией, решительно не согласен с двумя предшествующими ораторами.

Следует обмен резкими репликами. По просьбе его императорского высочества говорит князь Понятовский, который высказывается за продолжение войны самыми решительными средствами.

Главкомандующий благодарит маршалов и генералов и говорит, что окончательное решение будет доведено до их сведения к 7 часам утра следующего дня. Просит соблюдать полную тайну по поводу мнений, высказанных на заседании.

10. Принц Георгий Ольденбургский — Александру I

Ярославль, август

Мой долг, государь, велит мне говорить. Полковник Вельяшев вернулся сегодня из главной квартиры, куда он был послан следить за ремонтом дорог; он доложил мне о состоянии армии. По его словам, генерал Барклай теряет ее вследствие своей нерешительности, и недовольство достигло крайней степени. Я заклинаю вас, исправьте положение, и немедленно: не делайте себя ответственным за гибель вашей империи. Я говорю как человек чести, хороший патриот и истинный друг. Багратиона обожают, армия его желает. Вы его не любите, но дело идет о вашей чести и вашей славе: отзовите министра (Барклая) к себе и доверьте князю Багратиону командование вашими войсками... Я повторяю вам мою просьбу разрешить мне вернуться в армию. Если моей жене придет время рожать, я попрошу

разрешения провести с ней первые десять дней. Я у ваших ног сердцем и душой. Георгий¹.

Р. С. Вы знаете, государь, что такое капризы беременной женщины. Катрин умоляет вас прислать к ней одну из ее любимиц. Речь идет о м-ль Невзоровой. Катрин просит вас передать ее желание матери м-ль Невзоровой.

II. Николай Истомин — сестре

Ярославль, конец августа

Вы с маменькой, верно, знаете, что князь Кутузов назначен главнокомандующим, а Багратион будет ему помощник. Ныне Кутузов уже прибыл в армию. Назначение это принято повсюду с великим ликованием. Думаю, и в наших краях также. Выученик Суворова, победитель турков, подлинно вождь народный. Говорят, он под Аустерлицем бит французами. Глупо сие рассуждение. За что мы тогда воевали? За корысть австрийскую. И где? За тридевять земель от России. Что ж тут сравнивать? Теперь же под Москвой за самый живот отечества нашего бьемся.

Что одолеем мы французов, отнюдь чудом не будет. Иного и не полагаю возможным. Я же ныне и в чудеса положительно верить готов. Слушай же.

Вчера приехал я в Ярославль с миссией служебной. Поручено мне пополнение для нашей дивизии здесь собирать. Явился к генерал-губернатору, его высочеству принцу Ольденбургскому. Я миссию свою изложил, он чиновников вызвал, все им указал. Потом говорит: «Вечером у меня небольшое общество, милости прошу».

Я велел мундир, как можно, почистить, себя привел в порядок и отправился во дворец. Вошел в гостиную ее высочества, куда меня провели, и увидел... кого, кого

¹ Принц Георгий Ольденбургский, родственник жены Александра I, был в свою очередь женат на его младшей сестре Екатерине Павловне. В 1812 году он занимал должность главного директора путей сообщения и генерал-губернатора Тверского, Ярославского и Новгородского.

ты думаешь?! NN! Дар речи меня оставил. Она, увидев меня, побледнела, бедняжка, и возглас изумления не сдержала. Ее высочество ко мне обратилась. Запинаясь, изъяснил я, что с m-lle NN имею честь знакомым быть. Но лица наши сказали гораздо больше.

— C'est donc votre fiancé, Anastasie? Oh, comme c'est romanesque! Et bien, presentez le moi ¹.

Первые минуты прошли для меня как в чаду. Я чувствовал себя пьяным, от радости пьяным. Наконец смогли мы уединиться в нише окна. «Вы здесь! Какими судьбами?! Каким образом?» Этими восклицаниями обменивались мы, держась за руки. Здесь она в десять раз милее, чем в Петербурге, если это возможно. И здесь она наконец не NN, а Настенька Невзорова. Отныне снимаю я сие имя скрытное, кое сам ей в переписке нашей дал!

Все легко объяснилось. Великая княгиня просила государя прислать к ней Настеньку. Матан не вполне здорова (ах как я, грешный, рад этому нездоровью), и вот Настенька здесь с теткой своей, весьма добродушной старушкой, ко мне вполне благосклонной. Ее высочество нас скоро отпустила. Гуляли мы с Настенькой допоздна по набережной на Волге. Провинция имеет свои привилегии и допускает вольности, в Петербурге невозможные. Какое счастье!

12. Из дневника Николая Истомина

Жизнь моя вся переменялась и новым смыслом наполнялась. Всякую свободную минуту я с Настенькой. Утром занята она у ее высочества, читает ей по-французски, сопровождает на прогулках. Зато вторая половина дня — наша. Мы гуляем, беседуем, музицируем. Иной раз не верится, что война идет. Иной раз стыдно мне здесь время проводить, когда братья мои сражаются. Но близ Настеньки, кажется, все позабываю.

¹ Так это ваш жених, Анастасия? Ах, как это романтично! Представьте же его мне (фр.).

Да недолгое это будет счастье. На той неделе выступаем.

...Сейчас два часа о войне проговорили. Настенька о том мало знает. Да и откуда знать? Не таково воспитание у девиц наших. Столько ей рассказывал, что она, бедняжка, устала совсем. Говорит, все в голове перепуталось.

Часто в церкви заходим, коих здесь великое множество. По свечке поставим, перекрестимся и выходим. Попадья, что в церкви Ильи Пророка, нас к себе зазвала. «Ох, вы мои красавчики... Ну чем не пара? Вот отец Никандр мой и обвенчал бы». Настенька краснеет и помалкивает. А я так ее расцеловать хочу, что мочи нет. Вечером и поцеловал в первый раз. Сердце зашлось.

Кажется мне, что я совсем не сплю. Вечером допоздна с Настенькой, а часов в пять утра меня Федор поднимает, ведро холодной воды тащит. Надобно ехать в уезд или в казарму идти или еще какие дела. Ратники собрались, а снаряжения нет, с одеждой плохо. Война войной, а чиновники те же самые остались: воры, взяточники, волокитчики. Сегодня одному военным судом пригрозил, сразу все бумаги нужные выправил.

...Прибегает за мной Настенькина горничная утром в гостиницу: ее высочество зовут-с. Через четверть часа я во дворце. Настенька встречает меня у дверей кабинета, вся сияет и руку жмет. Я не знаю, что думать. Великая княгиня в свободном домашнем платье: она ведь на седьмом или восьмом месяце.

— Я слышала, вы успешно завершаете свои дела здесь и скоро отправляетесь к армии?

— Надеюсь, ваше высочество...

— А тем временем кружите голову прелестной Anastasie?

— Ваше высочество... (кажется, я только мычу в растерянности. Настенька краснеет, но улыбается весьма лукаво).

— Я знаю всю историю вашего сватовства. Вам велено ждать.

— Да, ваше высочество, и это очень тяжело. Особенно теперь.

— Это мудрое решение. Но все решения мудры для одного момента и не так уж мудры для другого...

Она задумчиво смотрит на меня, потом на Настеньку. Я начинаю кое-что понимать, но еще боюсь верить.

— Не могу ли я помочь бедным влюбленным?

— О, ваше высочество...

— Может быть, вы берете назад свое предложение?

— Нет, ваше высочество, я готов повторить его тысячу раз!

...Завтра она станет моей. О мучительная сладость предчувствий! Я целую ее круглые открытые ручки, нежное личико... Завтра! Да здравствует Ольденбургский дом! В добрый час осел он в России!

...Разговор с великой княгиней с глазу на глаз. Она будет просить мадам Невзорову простить непослушных детей. «О, она, конечно, простит. Но напишите ей сами покаяние». Настенька спит, а я пишу покаяние. Это наша третья ночь.

...Вызван к принцу. Получено предписание мне вести немедленно ратников моих в Москву. Враг занял Вязьму и угрожает Москве. Принц доверительно говорит о своих опасениях. Дал мне личное письмо к Кутузову. Завтра выступаем.

...Прощай, жена моя, моя девочка! Ушел я из дому рано, когда она спала еще. Я поцеловал ее в лоб, она едва шевельнулась, что-то сказала в полусне и снова заснула как дитя. Бог да охранит тебя, моя родная!

13. Ростопчин — Александру I

Секретно... Самозванец сей, как мне докладывают, лицом и фигурой с покойным необычайно схож. Объявился он впервые в Рузском уезде в оставленном владельцами имении князей Долгоруких, куда войска ре-

гулярные французские не вступили, стороной пройдя. Одет был в партикулярное немецкое платье, при нем два офицера в мундирах гвардии императорской, а помимо того, некий человек, толмачом служивший. Было также вооруженных человек двадцать в русском крестьянском платье, как полагают — переодетых.

По приказу упомянутого самозванца был собран сход крестьянский. Через толмача изъяснил он крестьянам, что он есть подлинно император французов Наполеон, чудом от смерти спасенный. Его-де пытались убить, потому как он намерен был мужикам русским волю дать, чего генералы и министры не желали. От его лица объявлено было, что крестьяне от личной зависимости и всех повинностей по отношению к господам своим освобождаются. Землю, ими обрабатываемую, они сохраняют.

Выслушаны были те посулы крестьянами с недоверием и сомнением немалым. Нашлись люди, однако же, кои крик одобрения подняли и многих других на то соблазнили.

...Ныне в уездах Рузском и Волоколамском смутой охвачено до ста деревень.

14. Из мемуаров Коленкура

...Пожар по-прежнему распространялся от окраинных предместий, где он начался, к центру. Огонь охватил уже дома вокруг Кремля. Ветер, повернувший немного на запад, помогал огню распространяться с ужасной силой и далеко разбрасывал огромные головни, которые, падая, как огненный дождь, зажигали другие дома и не позволяли самым отважным людям оставаться поблизости. Воздух был так накален, горящие сосновые головни летели в таком количестве, что балки, поддерживавшие железную крышу арсенала (в Кремле), загорелись... Пожар усиливался, и нельзя было угадать, где и когда он остановится, потому что не было никаких средств локализовать его... Показания полицейских солдат, признания полицейского офицера,

которого задержали в день нашего вступления в Москву, — все доказывало, что пожар был подготовлен и осуществлен по приказу графа Ростопчина...

В эти дни, после великого пожара, когда армия стала обживать полусгоревший город, я имел несколько памятных бесед с умным и образованным офицером по имени Шасс. Он служил в генеральном штабе в небольшом чине, который мало соответствовал его способностям. В русском походе он выполнял обязанности историографа.

Шасс имел свою теорию этой войны. Истоки ее он видел в разделах Польши во времена Людовика XV и царицы Екатерины. Эти разделы вывели Россию на арену европейской политической игры и обнаружили угрозу с ее стороны для всех наций Европы. Пруссия и Австрия почувствовали «дружеские» объятия русского медведя. Рано или поздно Европа должна была столкнуться с Россией. Революция во Франции на время отвлекла внимание от этого противостояния. Европа увязла в междоусобных войнах, пока император силой оружия не объединил ее от Лисабона до Варшавы. Тогда исторически неизбежная война стала действительностью. Смерть императора ничего не изменила, потому что положение в главном осталось прежним: впервые за много десятилетий России противостояла объединенная Европа. Представьте себе, говорил он, две грозные тучи. Они не могут разойтись без вспышек молнии. Ничто не может их развести.

«Предвещает ли ваша теория победу Европе в этой войне?» — спросил я Шасса.

«Нет, — отвечал он после минутного раздумья, — это другой вопрос. Победой можно было считать оккупацию польских и литовских земель и создание сильной, союзной нам, Польши. Взяв Москву, мы упустили эту победу».

Я далеко не во всем соглашался с Шассом, хотя мысли его произвели на меня впечатление. «Даже вый-

дя на Вислу, — говорил я, — Россия едва ли в каком-то прямом смысле угрожала бы Европе. Вся деятельность России направлена внутрь, на освоение ее гигантских просторов. Война не была неизбежной. Русские ее определенно не хотели. На нашей стороне войны хотел император, а не Европа и не Франция. Что касается Польши, то ее можно было восстановить без войны из прусских и австрийских земель».

«Конечно, — отвечал он, — войны хотел император. Очень и очень многие не хотели и опасались ее, при том с полным основанием. Но война все же началась, хотя императора не стало. Видимо, историческая необходимость сильнее воли людей».

Наши дискуссии ни к чему не приводили и не могли привести, но давали возможность приятно провести время, особенно если учесть, что у меня в Москве была неплохая кухня и отличное вино. Так продолжался этот странный пир во время чумы.

Тогда же я узнал о появлении таинственного самозванца. Вокруг него собрался отряд численностью до тысячи человек. Состоял он из всяческого сброда, отколовшегося от нашей армии. Они не воевали ни с нами, ни с русскими или, если угодно, воевали с теми и с другими. Искусно распространяя среди окрестных жителей слух о свободе и наделении землей, этот человек добился, по крайней мере на время, их поддержки. Он добился бы, может быть, и большего, если бы его сторонники не грабили крестьян хуже регулярных французских войск. Действия его внушали, кажется, равные опасения нашему и русскому командованию.

Майор Шасс был послан из Москвы для расследования дела. Я сказал ему: «Имейте в виду: Россия — страна самозванцев. Мне говорили, что едва ли не каждый царь имел после смерти двойника, а иные — несколько. Думаю, и нынешний самозванец — русская, а не французская выдумка. Почему-то ему оказалось удобнее перевоплотиться в Наполеона, а не в Павла».

15. Из дневника Жака Шасса

... — Вы хотели меня видеть?

— После того, как я просидел двенадцать часов в сыром подвале, я действительно страстно захотел этого. Ранее у меня не было такого желания.

— Кто вы такой?

Я представился.

— У вас есть бумаги?

— Ваши люди отобрали их у меня.

— Вас приняли за шпиона. Бумаги... Бумаги здесь...

Пока мой хозяин изучал документы, я имел возможность разглядеть его. Он напоминал грубую ремесленную копию с великого произведения искусства. Сходство, несомненно, было, в чем-то даже значительное. Но никогда я не мог бы принять его за императора. Впрочем, достаточно было услышать несколько сказанных им слов, чтобы не осталось сомнения.

— Вы знаете, кто я?

— Нет, месье.

— Вы не хотите говорить «сир»?

— Я не могу. Я много раз видел покойного императора, он неоднократно беседовал со мной. Кроме того, я собственными глазами видел его в гробу.

— Людям свойственно переоценивать остроту и надежность их органов чувств, майор.

Я невольно пожал плечами. К моему удивлению, он продолжал довольно дружелюбно:

— В этом мире еще много непонятного, майор. Помните, что Гамлет говорил Горацио... Впрочем, это безразлично. Речь идет о другом. Теперь у меня нет ни желания, ни возможности мешать вам вести войну, как бы вы ее ни вели. Правда, я подбираю осколки войск, но у меня они безвреднее для французской армии, чем в ее составе.

Он замолчал. Я воспользовался паузой и спросил:

— Но каковы ваши цели?

— Цели! Разве игра и наслаждение, которое она

дает, — не цель? А каковы ваши цели, майор? Стать полковником? Или, может быть, генералом? Выйти в отставку с хорошей пенсией?

— Но при чем тут освобождение крестьян?

— Ах, майор, вы не знаете Россию...

Он запнулся. Ему пришла, должно быть, в голову та же мысль, что и мне: а подлинный Наполеон разве знал ее? Он улыбнулся, махнул рукой и продолжал:

— В России это верный способ устроить большой скандал. Это козырной туз, который ваши начальники без пользы продержали в прикупе. Должен же был найтись игрок, который взял этот прикуп и пошел бы с козырного туза.

Мой собеседник говорил с увлечением, с азартом. При этом он встал, и короткая отяжелевшая фигура вновь живо напомнила императора.

Я спросил напрямик:

— Вы русский?

Он засмеялся, отдал мне мою сумку и молча показал рукой на дверь.

Я вышел из избы, где имел резиденцию «император», и почти столкнулся с русским офицером, которого двое оборванцев в старых гренадерских мундирах вели к нему. Это был совсем молодой человек, блондин с приятным удлинненным лицом. Мы пристально посмотрели в глаза друг другу.

Светило скудное осеннее солнце. Я вздрогнул, вспомнив мерзкий подвал с плесенью на земляных стенах и с возней мышей. Мне вернули коня и оружие...

Лишь наутро наткнулся я на охранные посты частей корпуса Даву.

16. Леблан — Жаку Шассу

Париж, сентябрь

Мой дорогой мальчик! Письмо из Ковно — пока единственное от тебя с начала войны. Но мы знаем, что враг бежит, а вы побеждаете. Я лишь надеюсь, что

ваш главнокомандующий хорошо помнит Пирра и не попадет в его положение.

В Париже ничего нового; если не считать того, что мы имеем двух вдовствующих императриц и два двора, причем они не в лучших отношениях между собой. Князь Талейран успешно балансирует между обоими дворами.

О новостях литературы, которыми ты обычно интересуешься, ничего положительного сообщить не могу, поскольку таковых нет. Может быть, правильнее было бы сказать, что нет литературы, а потому нет, естественно, и новостей. Наш император своими победами и мудрым управлением вызвал неожиданные последствия, в частности, исчезновение литературы. Ты, возможно, улыбнешься, но я по этому поводу вспомнил опять-таки Тацита. В первой книге «Анналов» пишет он о временах Августа: вначале не было недостатка в блестящих дарованиях, чтобы описывать его деяния. Но они писали, «пока их не отвратило от этого все возмущающее пресмыкательство перед ним». Не кажется ли тебе, что есть отдаленное сходство? Где теперь дарования в литературе?

Мне жаль твоего брата. У него разливается политическая желчь. Я пытался внушить ему терпение, но напрасно. Он сказал мне, что терпит уже пятнадцать лет и терпению его приходит конец.

Сын твой здоров и ждет, что ты привезешь ему живого медвежонка. Он считает, что это был бы лучший трофей. Аннет тебе кланяется и сожалеет, что не может угостить тебя своей стряпней. Ее сын Антуан, которому едва минуло восемнадцать лет, тоже в России. Он служит в 28-м пехотном полку. Аннет просит тебя присмотреть за мальчиком. У нее, кажется, свои представления о России и войне.

17. Жак Шасс — Леблану

Письмо ваше ожидало меня в Москве. Курьеры делают чудеса, хотя иным из них это стоит жизни: ка-

заки не раз перехватывали почту. В Москву вернулся я после визита к... императору. Чего не породит водоворот войны! Здесь появился человек, выдающий себя за Наполеона. Он цитирует Шекспира, освобождает рабов и говорит языком карточного шулера. Впрочем, положение армии таково, что мой доклад не слишком заинтересовал Бертье и принца.

Имя Пирра навело меня на мысли о некоторых других событиях древности. К тому располагают и прекрасные книги из библиотеки графа Апраксина, в чьем доме мы живем. Его удалось отстоять от пожара, спалившего две трети Москвы. Этой библиотеке вы бы позавидовали. Боюсь, что мне не удастся выполнить желание моего сына, но вам я обещаю несколько великолепных томов. Это не будет ни воровством, ни грабежом. Напротив, таким образом будут спасены ценности, которые в противном случае пошли бы нашим солдатам на топку печей.

Вот что прочел я у Геродота о походе персидского царя Камбиса в Эфиопию:

«Не успело войско пройти пятой части пути, как уже истощились взятые с собой съестные припасы. Вьючные животные были также забиты и съедены. Если бы Камбис, заметив это, одумался и повернул назад, то, несмотря на свою первую ошибку, он все-таки поступил бы как благоразумный человек. Однако царь, ни о чем не рассуждая, шел все вперед и вперед. Пока воины находили еще съедобную траву и корни, они питались ими. Когда же пришли в песчаную пустыню, то некоторые воины совершили страшное дело: каждого десятого они по жребию убивали и съедали».

Должен сказать, что это очень похоже на наш поход. Людей мы пока не пожираем, но, может быть, это еще впереди?

Чтобы понять Россию, надо побывать в ней. Никакие описания и рассказы здесь не помогут. Может быть, об этом народе сказал Петрарка: там, в северной ту-

манной стране, родится племя, которому умирать не больно. Я не считаю себя трусом, но мне страшно. Это же сказал в разговоре со мной герцог де Виченца. А в его мужестве никто еще не сомневался.

Ваши мысли о французской литературе меня позабавили. С грустью признал я, что вы во многом правы. Писатели наши либо в опале и на чужбине, либо пишут верноподданнический бред. Музы переселились в Германию и в Англию.

Меня беспокоит то, что вы пишете о моем брате. Я знаю Марка. Он может теперь решиться на что-то гибельное и сумеет увлечь своих друзей.

18. Николай Истомин — Сперанскому

Любезный Михайло Михайлович! Наконец имею возможность писать вам, не опасаясь любопытных глаз. О великих и грозных событиях, коих был я свидетель, знаете вы от многих. О счастье своем писал я вам прошлый раз. Ныне поделиться хочу сомнениями, тяжело мне на душе лежащими. Дошел ли до Нижнего слух о самозванце? Так вот, мне известно, кто есть сей самозванец, именем Наполеона крестьянам нашим волю дарующий. Поверите ли: это некто поручик Глинский, игрок и бретер, но, впрочем, добрый и весьма неглупый малый. Я его в Петербурге знал: он известному вам Андрею Татищеву близкий приятель был. Месяца за два до войны вынужден он был полк оставить после какой-то неблагоприятной истории. Вины его, однако, как Татищев уверяет, не было, а лишь стечение обстоятельств.

Представьте же мое положение. Я послан с пакетом, попадаю в руки неизвестных, отведен к их главарю, коего они *сиром* именуют. И вижу в избе близ Волоколамска... живого Наполеона. Не сразу понял я, что со мной происходит. Глинский же меня сразу узнал. Надо сказать, что по причине сходства он еще в пажеском корпусе прозвище Наполеон имел.

Он выходит изменник отечеству. Мой долг убить его аки пса, не глядя на последствия для себя. Он же меня сердечно обнимает, велит подать шампанского...

Как я его убью? Да и оружие у меня отобрано. Но не то главное. А главное то, что этот дуэлянт эмансипацию крестьян, о чем я мечтал лишь, на деле делает! Под именем деспота иноземного, но делает. «А как иначе возможно?» — спросил он меня. Я ему говорю: после войны, после победы... Он смеется, да и я верю ли подлинно?

Но и другое понял я: для Глинского все это игра, авантюра неслыханная, которой он, может, всю жизнь ждал. Натура у него такая: игрок до мозга костей!

До глубокой ночи мы с ним проговорили. Наутро отдал он мне пакет нераспечатанный и велел своим людям на большую дорогу вывести и отпустить.

Теперь сам я отчасти преступник, ибо по начальству, как положено, о приключении не доложил.

Думаю о том днем и ночью. Каковы бы ни были цели у Глинского, а поступки его с крестьянами благородны и могут начало великому делу положить.

А с другой стороны посмотреть: враг в Москве, землю нашу топчет и поганит. Одна ныне цель у народа русского — лютого врага разбить и изгнать. Помогает этому Глинского авантюра? Нет, конечно! Напротив, очень помешать может, распри и смуту породив. Что будет с крестьянами, кои ему поверили?..

19. Николай Истомин — сестре

Приготовься узнать дурную весть, сестра. Андрей Татищев умер вчера у меня на руках от ран, полученных в сражении две недели назад. Жил и умер он как мужественный человек. Ты знаешь, и отец наш, и я лежали надежду, что он породнится с нами. Казалось мне, и ты была к нему склонна. Коснеющими устами желал он тебе в жизни счастья... Могилу его на сельском кладбище запомнил я. Если будем живы, придем сюда...

Враг оставил Москву. Молвить — сердце переворачивается: Москвы нет! Есть огромное пепелище. Офицер, приятель мой, который через Москву проехал и мне письмецо от Настеньки привез, поистине страшные вещи рассказывает.

Но горе злодеям! Оставив столицу, бросились французы навстречу армии нашей и получили тяжкий удар. Ныне отступают враги, бросая награбленное добро и раненых своих!

Пишу я тебе из гошпиталя. Не пугайся, душа моя, рана у меня пустяшная, а в гошпиталь попал я только по личному приказу светлейшего. Довелось мне спасителя России увидеть!

В гошпитале у меня общество отменное. Но притом думаю на днях сбежать и своих догонять. Представь себе — странный случай. Ехал я с донесением к светлейшему и нос к носу столкнулся в сумерках с французами. Им там вовсе не полагалось быть. Вишь ты, двое офицеров погулять засветло выехали да заблудились и в наше расположение попали. Началась стрельба. Тут-то я и получил пулю в плечо, но и сам одного француза с коня ссадил. Мой Федор и солдат, с нами бывший, обоих скрутили и в лагерь доставили. Донесение я сдал, и в штабной комнате неладно мне стало. Князь прикрикнул да в гошпиталь послал.

Кого ж, думаешь, я на другой день там встретил? Того самого француза, раненого! Может, моя пуля его и задела, а его — у меня через плечо прошла.

Встреча спервоначалу мне не из приятных показалась: убивец с жертвой чуть не из одного котелка едят. Да притом оба мы и убивцы и жертвы. О том, что они Москву пожгли и отечество наше как на кресте распяли, и не говорю.

Врач мне сказал, что француз сей по особому указанию светлейшего сюда доставлен.

Лежим рядом, молчим. Да ведь долго не умолчишь.

Разговорились понемногу. Оказалось, к тому же, что мы с ним однажды видели друг друга в весьма необычных обстоятельствах, о чем не время рассказывать. Я к нему присмотрелся, он ко мне. Лицо открытое, смелое, шрам от сабельного удара на правой щеке. Лоб высокий, в волосах седина пробивается. Держится с достоинством, что в его положении нелегко. Говорит всегда спокойно, раздумчиво. Человек он не простой: *historiographe du quartier général, chevalier de la Légion d'Honneur*¹ за Смоленск.

Сколько я от него узнал за неделю, что мы вместе провели! О войне откровенно сказал мне он в том смысле, что французам теперь дай бог ноги унести.

Я его спросил: «Как полагаете вы, если бы император был жив и возглавлял армию, пошло бы дело в сей войне иначе?»

Видно было, что он вопросом немало затруднен. Долго помолчав, ответил он: «Теперь думаю я, что сам император был бы здесь бессилён. Я не вижу капитальных ошибок, совершенных принцем, коих император мог бы избежать. Император не остановился бы в Смоленске, чего и Евгений не сделал. Император взял бы Москву непременно, и Евгений взял. Что до пожара, то подлинно знаю: ни император, ни кто другой этому помешать не могли бы».

Не перескажешь всех разговоров наших. Испытывая к нему доверие искреннее и расположение, не скрыл я от него и своих чувств насчет рабского состояния народа нашего. Он меня понял и чувства мои оценил.

20. Из донесения Ростопчина

...Самозванец, более месяца мутивший западные уезды губернии Московской, более не существует. Как мне докладывают, возмутились на прошлой неделе противу него крестьяне селца Горюны Волоколамского

¹ Историограф генерального штаба, кавалер ордена Почетного легиона (Фр.).

уезда, коих его приспешники неслыханным грабежам и насилиям подвергали.

Окружив ночью дом, где самозванец квартиру имел, перебили они охрану, а самого его хотели живым взять. Самозванец же, изрядной силой и ловкостью отличаясь, сквозь них пробился, в одном исподнем белье в седло вскочил и бегством спастись пытался. Юноша крестьянский, по имени Ефим Зубков, сумел коню беглеца ноги косою подсесть. При падении самозванец расшибся сильно, да и крестьяне его не помиловали.

Труп в неузнаваемом виде доставлен был в Волоколамск. Никаких бумаг на нем не обнаружено. Личность убитого опознать до сих пор не удалось и, как полагают местные власти воинские, едва ли удастся. Мною дано разрешение на погребение тела сего неизвестного человека.

21. Ольга Истомина — брату в армию

Приехал г-н Корсаков и привез твое, милый братец, письмо. У нас смог он пробыть лишь один день. Шутник он и балагур, маменьку очень рассказами своими развлек, а мне с ним шутить тяжело. Бедный, бедный Андриуша! Все перечитываю его единственное письмо из-под Смоленска и плачу... О ране своей пишешь ты как о пустяке. Так ли? Не могу тебе сказать, как мы с маменькой за тебя боимся, как господа молимся. Ты ведь один у нас. Написала бы «береги себя», да знаю, что пользы от этих слов мало.

Все имения по уезду заполнены родственниками, знакомыми и незнакомыми из Москвы. Живут порой целыми семьями в одной горнице. Принимали всех, кто просился, не разбирали, у нас живут Погожевы, семь человек да дворня, и еще две семьи, ты их не знаешь. Дети малые болеют, старушка одна на моих руках третьего дня умерла. Нянька Матрена тоже на прошлой неделе... Страшно. Но я рада, что дело есть, весь день в трудах и заботах. Так легче.

О французе твоим трудно мне судить. Как думаю,

что его пуля тебя ранила... Но тебе виднее, я ведь его не знаю. Может, он и хороший человек. Ведь не стали же все французы негодяями. Тоже ведь не своей волей шли. Раньше бы сказали: волей узурпатора и деспота Бонапарта. А теперь? Волей вице-короля Евгения? Да неужто у этого вице-короля, о коем вчера еще никто и слыхом не слыхал, власть и сила такая? Не верится. Но тогда чья же это воля?

Слышала я, что М-г Сперанский по указу государя из Нижнего в Пермь послан. Будто он неуместные какие-то разговоры вел и на него в Петербург донесли.

Напиши Настеньке, что я ее люблю и встречи с нетерпением жду.

22. «Московские ведомости» в ноябре 1812 г.

Из Радзивиллова, ноябрь 7. В австрийской газете, под названием *Oesterreichischer Beobachter*, № 511, под статьей из Франции помещено следующее: «Граф Дежан, первый генерал-инспектор инженерного ведомства, назначен быть президентом военной комиссии, которая будет судить трех бывших генералов Мале, Лагори и Гвидаля с прочими виновными. *Journal de Paris* возвещает, что упомянутые бывшие генералы 23-го числа октября в половине осьмого часа утра отважились на разные насильственные поступки против государственных чиновников, которых попечению в особенности вверена всеобщая безопасность в Париже. Через три четверти часа после того, продолжает упомянутый журнал, бессмысленные те люди были арестованы и приведены в несостояние больше вредить: а через два часа были уже в руках полиции и все те, коих они обольстили к соучастию в их дерзости...»

Хотя по сим французским известиям, сие возмущение представляется неважным, имевшим целью своею токмо грабеж и похищение казны, и почитается прекращенным и утихшим, однако ж небезосновательные слухи утверждают, напротив, что дух возмущения в Париже день ото дня усиливается и распространяется...

23. Из мемуаров Талейрана

Находясь в течение стольких лет в гуще его (Наполеона) планов и, так сказать, в самом кратере его политики, я был свидетелем всего, что делалось и подготавливалось против него...

...Я знал Мале в его лучшие времена. Он был человек мужественный и решительный, но после любой встречи с ним всегда оставалось какое-то недоумение: на что намерен направить этот человек свою решительность? В 1812 году ему было за пятьдесят лет. Он давно уже был в отставке, и притом не по своей воле. Служа в наших войсках в Италии, он был обвинен в злоупотреблениях, и император, всегда вершивший скорый (но далеко не всегда правый) суд, уволил его в отставку.

Самолюбие Мале было жестоко уязвлено. Никакого другого дела, кроме военного, он не знал, семьи у него, насколько я знаю, не было. Так сказать, от нечего делать он оказался среди республиканских заговорщиков и даже стал их главой, так как им были нужны его военные познания. Выданный одним из сообщников, Мале попал в тюрьму.

После этого он стал профессиональным заговорщиком. Однако полиция легко узнавала о его замыслах через шпионов, которых подсаживали к нему в камеру. В конце концов Мале был признан помешанным и помещен в тюремную больницу. Но безумие это было отмечено следами гениальности. Новый заговор его едва не удался. Имея в начале выступления всего пять или шесть человек, Мале за несколько часов стал хозяином Парижа. Только стечение обстоятельств погубило его план.

Второй по значению фигурой заговора был Марк Шасс, тоже имевший богатое прошлое. В свое время он был близок к Бабефу и лишь случайно избежал наказания. Я впервые увидел его на суде, и его мрачная решимость произвела на меня и на всех присутствующих

большее впечатление, чем актерская бравада Мале. Шасс был убежденным якобинцем самого крайнего толка, возможно, он сохранил верность идеям Бабефа.

О заговоре и его провале узнал я хмурым утром, когда ко мне неожиданно явился г-н Леблан. Он был мой добрый знакомый в первые годы революции. Потом пути наши разошлись; я оказался за пределами Франции, а он — в якобинской фракции Конвента. Когда я вернулся, мы встретились вновь. Во многом мы не могли согласиться, но он был своеобразный и остроумный человек, и беседы с ним доставляли мне удовольствие. С годами разговоры наши все менее касались политики, все более — римской истории, которой он был великий знаток. Из появления г-на Леблана в неурочный час и его встревоженного вида я сделал вывод, что случилось нечто необычное. Скоро все объяснилось: он пришел просить моего заступничества за Шасса, с семьей которого его связывали дружеские узы. Я знал, что брат Марка Шасса, офицер генерального штаба, был в каком-то смысле воспитанником г-на Леблана. Этот офицер не вернулся из русского похода.

Несмотря на свою опалу, я пытался ради Леблана спасти от смерти Марка Шасса, но это оказалось невозможным. Я видел Леблана в день, когда заговорщики были расстреляны. Он был очень огорчен. Несколько отвлекся он лишь, когда я заговорил с ним о его любимом предмете — книге о Таците, над которой он тогда работал. Книга эта теперь известна каждому образованному человеку...

24. Марк Шасс — брату

Не знаю, найдет ли тебя в снегах России это письмо, которое обещает переслать Леблан. Ведь правда, там уже снег?

Через два часа я умру. В последние годы мы с тобой мало виделись, малыш. Мне даже трудно вызвать в памяти твое лицо. Все вижу восьмилетнего кудрявого

мальчика, которого я защищал от жестоких сорванцов нашего квартала...

У меня немного путаются мысли, дьявольски болит голова, разбитая прикладом. Ударил brave французский солдат, верный потомству деспота или негодяю Савари, герцогу (I) Ровиго. Ты не представляешь, как хотелось мне ткнуть этого полицейского герцога саблей или чем другим острым в толстое брюхо, когда мы его схватили. Может быть, надо было это сделать. Все равно один конец.

Кому-то, может, даже тебе, гибель моя покажется бессмысленной. Да, я принял участие в деле, цели которого во многом вовсе не разделял. Умру я вместе с людьми мужественными и верными. Но взгляды у нас разные.

Что делать? События складываются не так, как нам угодно. Я не мог больше молчать и терпеть. Здесь же была возможность действовать. *Vae victis*¹. Остается лишь надежда, что кровь наша оросит корни дерева свободы.

Малыш Жако! Если тебе суждено вернуться из России, воспитай своего сына с любовью к свободе. Прощай и постарайся выбраться оттуда живым. Живые все же нужнее Франции.

25. Николай Истомин — сестре

Завтра выезжаю я в армию, догонять дивизию свою. Рана оказалась немного серьезнее, чем я полагал. Но теперь вполне здоров.

Три недели провел я в каждодневном общении с французом майором Шассом. Скажу без преувеличения: многое мне яснее стало от этих разговоров. Умный и благородный человек в полном смысле слова. Ты скоро сама в этом убедишься, ибо... письмо сие он тебе сам доставит. Прошу я тебя и маменьку отнестись к нему ласково и приютить на время. Разрешение ис-

¹ Горе побежденным (лат.).

просил я у здешнего воинского начальника, пленными ведающего. Смело сказать могу, что Шасс другом мне сделался, и одним из ближайших. Не вечна война нынешняя и вражда между народами нашими, величайшими в Европе. Не должно и о том забывать, что Франция нам дорогу к освобождению народа показала. Оставлять его здесь никак нельзя. Человек он гордый и несговорчивый, а плен, душа моя, дело нешуточное. К тому ж зима, пища плохая, болезни кругом.

Война, как слышим повседневно, крайнего ожесточения достигает, так что испанские ужасы перед тем бледнеют. Весь народ поднялся.

Теперь о тревогах моих. Три недели уже нет от Настеньки писем. Верно знаю между тем, что почти из Ярославля была. Знаешь ведь ты, что провел я с нею как с женой моей ровно четверо суток всего. Не променяю я эти четыре дня на четыре года жизни. Но была ли она так же, как я, счастлива? Понимает ли, как люблю я ее?

Брак наш без согласия матери ее заключен. Воля ее высочества для тещи моей, конечно, закон, но что внутри она чувствует? Теща же, как я из последнего письма Настенькиного понял, должна была к ней приехать.

Но довольно! Верю я в жену мою и в любовь ее! Хоть бы скорее война кончилась. Буду тогда в отпуск проситься.

26. Из дневника Жака Шасса

Калуга, ноябрь — декабрь

...Так вот она какова, русская зима, которой мы так боялись. Второй день метет снег, так что города совсем не видно. Ужасно думать, что с моими товарищами там, на западе. Сюда пригоняют все новые партии пленных. Они выглядят так и говорят такое, что волосы дыбом встают. Многие ли уйдут живыми из этой роковой страны?

Как все это случилось? Ведь немало было прозор-

ливых людей, предостерегавших императора против этой войны. К стыду своему, я не был прозорлив. Император не хотел ничего слышать. Или, как мне Коленкур рассказывал, слушал, но делал по-своему. Императору никто не смел противоречить. Но когда его не стало, почему же эти прозорливые люди не подняли свой громкий голос против безумного замысла? Нет, они поднимали голос! Но их опять не слушали, как будто он продолжал повелевать из своего гроба. Значит, это была не воля императора, а что-то несравненно более сильное, непреодолимое?

...Говорим с Истоминным о том, кто виноват. За полгода погибло и еще погибнет, может быть, больше миллиона людей. Бессчетное количество детей — сироты, тысячи женщин — вдовы. Кто виноват? Nicolas упорно добивается ответа: неужто это только поступь истории, безличная, непреодолимая, фатальная? Со всем пылом юности восстает он против этого. «Миллион людей погибли, многие притом в страшных мучениях, а виновата, видите ли, госпожа Клио? И уж с нее-то не взыщешь! Хороша философия!»

Затем он начинает искать лично виноватых особ, а я предлагаю ему кандидатуры. Естественно, первым в списке обвиняемых стоит имя императора. Nicolas называет его и вопросительно, с некоторой опаской, смотрит на меня. Я говорю:

— Но как может он отвечать за то, что произошло после его смерти?

— Однако он подготовил войну и стремился к ней!

— Даже если допустить это, намерение — еще не преступление.

— Он дал событиям такое направление, которое уже нельзя изменить.

— Но, Nicolas, какую же роль вы тогда отводите живым людям, которые прямо участвовали в событиях? Роль простых пешек? Покойный император — все, а реально действующие люди — ничто? Это противо-

речит вашему суждению: люди определяют события и должны отвечать за них.

Дискуссия продолжается, но вина императора остается под сомнением. Он надолго задумывается, потом себе и мне задает вопрос: «Принц Евгений?» Я молча пожимаю плечами. Он жадно спрашивает:

— Что вы хотите этим сказать?

— Принц Евгений стал главнокомандующим, потому что это всех устраивало. К тому же он был, как в императорском Риме, усыновлен цезарем. Обычаем тех времен у нас стремятся следовать. Как полководец, маршал Даву был бы больше на месте, но этого никогда не допустили бы Бертье, Мюрат и другие.

— Что из этого? Во власти принца было отказаться, если он был не согласен с войной.

— Возможно. Но можете ли вы всерьез думать, что тогда события пошли бы иначе?

Мы доходим до царя Александра. Чтобы задать такой вопрос, в России нужна немалая смелость. Но Nicolas хочет беспристрастного разбирательства. Я молчу, рассуждает он один. Видно, как близко его сердцу то, что он говорит.

— Что бы вы, Жак, ни толковали об обоюдной подготовке к войне, о судьбах Польши и обо всем прочем, остается главное: Россия подверглась нападению. Во всемирной истории таких примеров хоть отбавляй: нападающая сторона всегда утверждает, что жертва себя плохо вела, поэтому на нее пришлось наброситься. И государь выполнил свой долг. Он дал народу и армии достойных вождей, он отказался от позорного мира. Теперь Россия спасена, и в этом его немалая заслуга. Одно я мог бы поставить ему в вину: скорее не то, что он сделал, а то, чего он *не* сделал. Десять лет назад он мог без труда дать народу нашему свободу, России — представительное правление. Всеобщее одобрение встретил бы этот шаг юного государя.

Беседа наша завершилась неожиданно. Говорили мы громко, Nicolas живо жестикулировал. Наша французская речь привлекала внимание прохожих, но мы этого не замечали. Опомнились мы в окружении нескольких солдат-инвалидов под командой braveго служаки. Истомин громко расхохотался, потом рассердился. Произошел громкий разговор, из которого я не понял ни слова, хоть о смысле нетрудно было догадаться. Нас все же повели в кордегардию и отпустили лишь после того, как явился туда поднятый с постели офицер. К тому же он оказался знакомым Истомина. Все кончилось хорошей выпивкой на квартире этого офицера. Нашлись даже две бутылки шампанского. Как сказал со смехом офицер, шампанское из обоза неаполитанского короля. Кажется, первый раз я угостился за счет Мюрата.

...Истомин уехал в армию. Еще одно грустное расставание, а их и так слишком много в моей жизни.

Он тяжело переживал в последние дни отсутствие сообщений от его юной жены. Я успокаивал его как мог. Огромные просторы страны и военное разорение делают почту ненадежной. Но боюсь, дело не только в почте. Милый Nicolas считает себя трезвым и хладнокровным человеком, но на самом деле он натура пылкая и увлекающаяся. Из всего, что он мне рассказал, я сделал для себя вывод: он плохо знает свою подругу, с которой его соединили столь романтические обстоятельства и каприз великой княгини. Дай бог, чтобы я ошибся.

27. Ольга Истомина — брату

Николенька, француз твой третьего дня приехал. Но он в жестокой лихорадке. Федор едва его довез. Лошадь у них пала, как с Владимирки свернули. Там он мужика нанял с санями. Больного поместили мы с маменькой в твоей комнате, она до сих пор пустая стояла... Дали ему питье прохладительное, компрессы на голову. Хотели во Владимир за доктором послать, да

ехать нельзя: такая метель поднялась, что с саней лошадь не видно. Может, бог даст, и обойдется: сегодня утром в себя пришел. Слабый, как ребенок. Долго понять не мог, где он. Когда понял, благодарить стал и прослезился. Мы с маменькой тоже всплакнули — сразу обо всех и обо всем...

А еще пересылаю тебе Настенькино письмо, что неделю назад пришло. Как она по-французски изящно пишет! Всей душой надеюсь я, что неосновательна тревога твоя. Лишь бы ты ее скорее увидеть мог! Написала ей, очень просила тебе чаще писать и душевнее. Хотела посоветовать ей по-русски писать да постеснялась с такими советами ломиться. Чувство-то на чужом языке плохо выражается, вот я и подумала... Конечно, не то главное, на каком языке...

28. Николай Истомин — сестре

Третьего дня разыскал меня Корсаков и заставил плясать: письмо от тебя! А сегодня приносит еще одно! Вот спасибо, сестра. По сообщению твоему вижу я, что не ошибся в Шассе. Уверен: попади я в беду, он бы для меня то же сделал, а может быть, и больше. Федор же, хоть у нас считается за человека низшего рода, а очень многим высшим пример подать мог бы.

Вот о вопросе твоём: чьей волей они шли. Я так полагаю, что злой волей начальников, всех этих королей, вице-королей, маршалов. Эти себе чести, славы и власти искали, а людей как баранов гнали. Надо бы с них спросить, да боюсь, что не спросят. Конечно, люди не бараны, могли бы возмутиться и не пойти. В этом их вина, поэтому они гибнут по заслугам.

Есть во Франции люди, против нынешней власти восстающие. Партизаны наши перехватили почту парижскую. В ней содержатся сообщения о мятеже, имевшем место в Париже. Власти сих смелых людей схватили и расстреляли. Я наткнулся среди расстрелянных на имя некоего Marc Chasse, штатского лица. Не брат

ли это Жака, о коем он мне однажды говорил? Я почти уверен, что так. Попытайся сказать ему об этом осторожно.

Горько слышать мне о новой ссылке Сперанского. Генералов хороших, как ныне выясняется, у нас немало, а вот где мужи государственные? Если после войны дела будут вершить те же люди, которых знал я последние два года в Петербурге, то одно могу сказать: горе России! Сперанский — один из немногих, способных повернуть нас на спасительный путь. Теперь он в Перми. А мог бы оказаться так далеко, откуда и возврата нет.

Может быть, невольно пишу я обо всем этом, чтобы не касаться личных своих дел. Но не хочу от тебя, сестра, скрывать тревоги своей, если не горя. Знаю я почти наверное, что Настенька меня не любит. Ты скажешь, что я ошибаюсь, спешу со страшным заключением своим. Я рад бы ошибиться. Но нет! Несчастье мое слишком очевидно. Суди сама. Два месяца не было мне от нее писем. Как ни трудна доставка почты в армию, а у нее такие возможности были: ведь она при особе великой княгини и принца. Наконец, в тяжкие дни сражений на Березине получаю я письмо. Радость мою представить невозможно. Что же она мне пишет?! Гладким (слишком гладким, это ты верно заметила!) французским языком дает отчет о переезде двора из Ярославля в Тверь и о смерти несчастного принца, зарвавшегося от больных при посещении госпиталя.

Я о смерти принца душевно сожалею, и супруге его, едва успевшей стать матерью, искренне сочувствую. Тем более, они были виновниками счастья моего.

Но кроме этого отчета, в письме-то ничего нет! Я не поверил своим глазам, я стал дрожащими руками шарить в конверте... Ничего, кроме нескольких прохладно ласковых слов в начале и поцелуя в конце.

Со слезами ярости и обиды сжег я письмо на костре, у которого мы отогревались в жестокую стужу.

Я ломаю себе голову, что случилось, чем я виноват. Самые невероятные вещи приходят мне в голову. Каково бы ни было влияние ее матери, не мыслю я, чтобы она могла отвлечь от меня мою чудесную Настеньку. Представь же себе и мое бессилие.

29. Ольга Истомина — брату
(до получения предыдущего письма)

Страшно мне подумать, милый братец, как вы там, защитники наши, на морозе да в походе. Но верю я: бог не допустит, чтобы с тобой беда случилась.

Что тебе о наших новостях рассказать? Живут у нас теперь еще два французских офицера. Маменька настояла их взять: за мое доброе имя опасается, потому как М-г Шасс у нас совсем вроде члена семьи стал. Если же, говорят, их трое, то ничего.

Он, кажется мне, заметно изменился за последнее время. Болезнь его совсем прошла. Я чувствую, что он и тяготится своим положением, и как-то рад ему. Некоторые слова его меня смущают и тревожат. Сколько он пережил и сколько знает! А я — просто уездная барышня, которая дальше Москвы нигде и не была. О нынешней войне стараюсь я с ним не говорить, вижу, что ему тяжело. Да ведь это и понятно: сколько у него друзей, товарищей близких погибло. Родной брат в Париже погиб. И за отечество свое душой он болеет.

Не проходит дня, чтобы мы с ним о тебе не говорили. Он тебя очень любит. Скажет что-нибудь хорошее, а я и рада еще рассказывать, да так, что слова его подтверждаются. Сулит он тебе большое будущее. Говорит, такие люди, как ты, должны Россию преобразовать и подлинно европейской страной сделать. А мне и радостно, и страшно. Особенно, как о судьбе Сперанского подумую.

Иногда говорит он так, что и понять мне трудно. Если замечает, тотчас останавливается и другими словами то же самое толкует. Да так делает, чтоб меня не задеть, не обидеть.

По-русски стал учиться, смешно слова выговаривает. Условились мы, что каждый день я один час с ним заниматься буду. Людям дворовым он нравится, а Федор положительно в него влюблен. Всем рассказывает, как во время их поездки Шасс за него перед казачками заступился, хоть сам жизнью рисковал.

Иногда о сыне вспоминает, но долго о нем говорить не любит. Лишь бы, говорит, Леблан был жив: он мальчика не оставит и правильно воспитает.

Такой он сильный, умный, знающий, а мне все же порой так его жаль...

30. Жак Шасс — Николаю Истомину

Ваша сестра сказала мне, что есть возможность послать письмо. Я с большой охотой это делаю.

Дорогой Nicolas, вам, сестре вашей и матушке обязан я жизнью. Лишь неусыпные заботы сестры вашей, расточаемые к тому же врагу ее отечества, вырвали меня из когтей смерти, а затем поставили на ноги.

Несомненно, сообщение из Парижа, о котором вы говорите, касается моего несчастного брата. Я ожидал чего-то подобного, но это не делает удар легче. Он был непримирим и нетерпелив — качества, которые в этом мире жестоко наказываются. Вся его жизнь в последние годы была, собственно, подготовкой к этому концу.

Я с любопытством знакомлюсь с русской жизнью. Гидом служит мне ваша сестра. Я искренне рад за вас и завидую: моя единственная младшая сестра умерла ребенком. Весь облик м-ль Ольги исполнен очарования, которому трудно противостоять. Познания ее далеко превосходят те, что мы видим у французских девиц ее положения и возраста.

Война в России закончена, победа венчает ваше оружие. Вероятно, это письмо застанет вас за границей. Может быть, вам представится случай переслать мое письмо к старшему другу, о котором я говорил. Он связан также с моим сыном. Они, конечно, думают, что я

погиб в России. Ради всего святого, берегите себя. Вы так нужны вашей семье. Я уверен, что вы нужны и вашему отечеству.

Я боюсь думать, чем кончится эта война для Франции, но для России она может означать обновление, подъем гражданственности, веяние свободы. Это прекрасное время для ваших либеральных стремлений.

Не знаю, где и когда нам суждено увидаться, но я этого очень хочу и буду ждать. Я смертельно боюсь обидеть вас, но все же должен сказать следующее. Я не хотел бы злоупотреблять гостеприимством вашей семьи. Если я почувствую, что я им в тягость, я с благодарностью покину ваш дом. Во Франции у меня есть некоторые средства, и я попытаюсь тем или иным путем затребовать их.

Я очень надеюсь, что ваша жена здорова и вы любимы, как того заслуживаете. Передайте ей мой поклон.

31. Жак Шасс — Леблану

Дорогой учитель! Я нахожусь в нескольких десятках лье к востоку от Москвы. Я в плену. Снисходительные и благородные люди сделали так, что из пленника я стал гостем. Я здоров и жизни моей ничто не угрожает. Скажите об этом моему сыну.

От русских мне стало известно о судьбе брата. Это еще более укрепляет меня в моем решении.

Я выхожу из игры. Если мне суждено вернуться во Францию, ничто больше не заставит меня жертвовать частной и мирной жизнью ради чьего угодно тщеславия. С меня довольно крови и сражений. Я хочу простого человеческого счастья и покоя. Может быть, я это уже нашел здесь, в России.

P. S. В жизнеописании Агриколы у Тацита есть место, которое в вольном пересказе звучит так: «В это страшное время люди молчали. Они утратили бы и память, если бы забывать было в их власти». Нечто подобное чувствую я теперь. Я молчу. И я охотно многое забыл бы, но, к несчастью, нам это не дано.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Умрешь — начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная зыбь канала,
Аптека, улица, фонарь.

Александр Блок

Вчера уехал мой московский гость — внук Сережа. Приезжал навестить старика, да заодно и отдохнуть от суеты столичной. За два вечера я рассказал ему эту странную историю. Сережа взял с меня слово записать ее, вот я и пишу.

Слава богу, времени теперь хоть отбавляй — покопался часок в огороде, и, глядишь, спина заныла. А ведь дело привычное: агроном, пусть и бывший. Да спина стала часто ныть, вроде то место, где в девятнадцатом ранило меня под Орском, когда нас гвоздила артиллерия белых...

Однако за дело.

Я кончил в четырнадцатом году Петровскую академию. На фронт под Варшавой попал в чине прапорщика. Там я, слегка лишь хлебнув окопной грязи, заболел сыпняком.

Меня отправили в Могилев в госпиталь, а оттуда почему-то перевели в местную больницу: наверно, госпитали были забиты ранеными. Я стал совсем плох, врач прямо сказал: молодой человек, если хотите что-нибудь сообщить родным, то поторопитесь. Перевели меня в особую палату, там на второй койке лежал страшно худой, обросший черно-седой бородой человек.

Ночью я очнулся от тяжелой дремоты и увидел, что сосед смотрит на меня блестящими воспаленными глазами.

— Вы не хотите спать? — свистящим шепотом спросил бородатый.

Я покачал головой, язык мне плохо повиновался.

— Я хочу вам кое-что сказать. Ваше лицо внушает мне доверие, а впрочем, у меня нет выбора...

Он помолчал. Потом сказал, пристально глядя на меня:

— Это кончается моя вторая жизнь. И я знаю, третьей не будет... Двух с меня вот так хватит...

Он провел ребром ладони по горлу, а я сквозь жар подумал: ко всему еще сумасшедший. Бородатый угадал:

— Я говорю в самом буквальном смысле и во всем отдаю себе отчет. Тут нет никаких символов, никакой игры словами. Если хотите слушать, я расскажу.

Я прочистил горло и сказал, что слушаю.

— Всегда я знал, что живу вторую жизнь, но знал как-то туманно, не до конца. А теперь уверен. Я ведь читал индийскую философию про переселение душ и прочее. Но это мистика, чепуха. А вот за мою историю эти переселенцы дорого бы дали... Вам наверняка случалось говорить себе: эх, кабы мне прожить жизнь или хоть часть ее еще раз! Как бы я славно все поправил, не сделал роковых ошибок, обошел стороной такую-то яму, не мучился угрызениями совести от такой-то подлости. Ну, это сродни мечтам Фауста, что ли...

Я кивнул головой: мол, согласен, понимаю.

Была темная ночь, тени от пламени свечи метались по стенам, и этот человек... Да у меня жар под сорок. Кризис при сыпняке — это пережить надо...

— Так вот, — продолжал бородатый, — вообразите человека одаренного, может быть, талантливого, который сам губит свои способности. Человека, от природы отнюдь не мерзавца, который в известных обстоятельствах

делает подлости. Он проходит мимо настоящей любви, не замечая ее, и совершает все новые непоправимые ошибки... Такой человек родился в 1813 году в Петербурге. Это был я... Перестаньте думать, что я сумасшедший! Я отлично знаю, что мне не сто с лишним лет, а недавно стукнуло полсотни. И все же это был я. Объяснить не могу, могу только рассказать. А там судите сами. Ну, ладно, чтобы вас не пугать, я буду рассказывать в третьем лице... Итак родился Эн... или, лучше сказать, Эн-прим... А я буду для вас Эн-два...

Он улыбнулся своей выдумке.

— Отец Эн-прима был петербургский чиновник средней руки, родом из тверских мящан. Ко времени рождения сына, кажется, коллежский асессор и уже немолодой человек. Чин давал ему дворянство. Мать получила небольшое наследство, это позволило отдать Эн-прима в гимназию. Он обнаружил способности, особенно литературные. К удивлению отцовских сослуживцев, поступил в университет. Было это в 31-м году, когда в Петербургском университете царили убожество и подлость. Он не оправился еще от разгрома при Аракчееве и был под сильным подозрением у царя Николая. Не было в помине и московской патриархальности, простоты нравов. Только что пала Варшава, поляков гнали в Сибирь.

Эн-прим имел приятную внешность и был умнее и начитаннее большинства своих товарищей. Он писал стихи и был замечен кем-то из тогдашних знаменитостей. Но у него не было собственного выезда, камердинера и денег для игры. Чтобы справить ему мундир темно-зеленого сукна и приличный статский костюм, отец должен был залезть в долги. Младшая сестра пожертвовала частью своего приданого, чтобы купить ему золотые часы. Эн-прим был честолюбив, и его честолюбие не могло ждать многие годы, пока он добьется успеха в литературе или на другом поприще.

Студенты тогда делились на казеннокоштных, своекоштных и вольнослушающих. Эн-прим был своекошт-

ным, жил дома и каждый день шел с Литейного на Кабинетную. Там, напротив Семеновских казарм, в небольшом двухэтажном доме был университет.

Дружба в восемнадцать лет завязывается быстро. Двое юношей стали его друзьями, оба из вольнослушающих. Один был сын гимназического учителя, другой... Другой из большого света, сын тайного советника, едва не министра. То был любимец судьбы, вроде графа из пушкинского «Выстрела». Помните? Красивый, знатный, богатый, щедрый...

Не выразить одним словом, что испытывал к нему Эн-прим: восхищение, зависть, жгучий интерес... Втроем они говорили обо всем, с откровенностью и доверием юности. Эн-прим и учительский сын были патриоты. Да и кто не был тогда патриотом? Жуковский и Пушкин прославляли усмирителей Польши. Но сын тайного советника знал слишком много, чтобы быть только патриотом. Он был вольнодумец, как его отец лет пятнадцать назад. Тогда патриотизм и вольнодумство были почти одно, теперь, в тридцать первом году — отнюдь нет.

Эн-прим и любимец фортуны бывали в доме учителя гимназии. Кроме сына, их товарища, у него была дочь, которую почему-то на английский манер звали Мэри. Ей было шестнадцать. Она была очаровательна. Вы догадываетесь, что произошло. К мукам тайной зависти, которой он стыдился, у Эн-прима прибавились муки ревности.

Вероятно, эти полудетские влюбленности так и кончились бы ничем, если бы не ее брат. Это прозвучит смешно, но для Эн-прима то был роковой человек. Когда я вам расскажу свою... вторую жизнь, вы поймете, что это значит. Да, тот белобрысый малый оказался роковым человеком. Он заронил мысль, он подвел Эн-прима к тому шагу, с которого все началось. Сознательно? Может быть, но не совсем. Коварно? Да, но ради забавы: посмотреть, что получится.

Эн-прим написал политический донос... Написал в

горячке, в ярости: в тот день он окончательно (так ему казалось) убедился, что Мэри предпочла ему другого и тот торжествует. Когда он уходил, опустошенный и несчастный, ее брат сказал ему загадочно: «Подумай, что ты можешь сделать. Что ты должен сделать».

И он сделал это.

Может быть, послав свой донос, Эн-прим через полчаса горько пожалел. Может быть, он даже внутренне надеялся, что на донос его никто не обратит внимания, что его отправят в архив без последствий... Но дело было сделано, и уже ничего нельзя было поправить... О, это страшное чувство непоправимости содеянного, необратимости событий, которые ты сам подтолкнул! Дальше одно цепляется за другое, и остановить нельзя, нельзя...

С растущим изумлением глядел я на рассказчика. О чужой жизни, о чужих ошибках так не говорят. Он полусидел в постели, судорожно сцепив пальцы темных иссохших рук. Не по росту большая грубая рубаша оставляла открытой костлявую грудь. Я лежал, не шевелясь, но сосед, кажется, забыл обо мне.

— Донос пошел по назначению. Сыскное и полицейское дело было тогда еще поставлено наивно. Бумага попала к человеку, который знал в свете отца юноши и чем-то был обязан ему. Отец предупредил сына, чтобы он не слишком доверял своим друзьям, и не скрыл от него, что речь идет об Эн-приме. Между молодыми людьми произошло объяснение... Был момент, когда Эн-прим едва не бросился со слезами и мольбой о прощении на грудь друга. Я уверен, тот простил бы: это был человек великодушный и чувствительный. О, если бы Эн-прим сделал так! Жизнь его пошла бы совсем иным путем. Но он не сделал этого. Напротив, он сказал другу дер-

зость. Тот вспыхнул и дал ему пощечину. На беду, под конец разговора они оказались не одни. Два их товарища по университету случайно вошли в комнату и видели, что произошло, хотя и не могли догадаться о причинах. Эн-прим выбежал вон, а обидчик сказал им какую-то первую попавшуюся ложь.

Надо было стреляться. Эн-прим не был от природы трусом, как не был негодяем. Однажды при пожаре ему довелось спасти ребенка из горящей избы. Но чем больше он думал, тем меньше хотелось ему подставлять лоб под пистолет, к тому же под пистолет человека, слывшего отличным стрелком. «Жизнь дается один раз, — говорил он себе, не подозревая, что эта ходячая фраза может оказаться неверна. — Если меня убьют, во мне бессмысленно погибнет поэт, философ, ученый. Если я убью, меня отдадут в солдаты, и поэт тоже погибнет. Честь? Но что такое честь? Только слово».

Он не послал вызов. Тогда любимец фортуны огласил подлинные причины ссоры. Эн-прим был уничтожен. Ему пришлось уйти из университета и скрыться в деревне. Родственники матери приняли его в своем убогом имении в Новгородской губернии. Впрочем, он продолжал усердно заниматься науками и опубликовал в журналах несколько неплохих стихов и две критики русских писателей. Разумеется, под псевдонимом.

Время шло. История постепенно забывалась и все более казалась ему почти что детской глупостью. Через четыре года Эн-прим вернулся в Петербург. Вернулся, как он думал, другим человеком. Он не пытался вновь войти в университетский круг, да ему этого и не хотелось. Он имел теперь некоторые знакомства среди литераторов.

Год он прослужил секретарем у одного старого князя, писал под диктовку мемуары, что-то поднакопил, взял денег у отца и поехал в Европу.

Но радости там не нашел и вел жизнь бесцельную и тоскливую. Чужие нравы и обычаи его не интересовали,

а соотечественников он встречал с отвращением. Страдал от денежных забот, порой доходил до нужды. Давал уроки и едва не перешел в католическую веру, но разочаровался и в ней. Начал писать роман из современной русской жизни и на несколько месяцев увлекся. Но, едуци из Лондона в Гамбург, в припадке тоски и морской болезни бросил рукопись в море и больше к этому не возвращался. Позже ему порой казалось — могло что-то получиться...

Проведя в Европах года два с половиной, он вернулся на родину постаревшим и бесприютным. Желчь переполняла его и в первое время делала интересным его разговор. Он был теперь в некоторой язвительной оппозиции к правительству. Впрочем, он был в оппозиции ко всему — к либерализму, литературе и логике.

Отец между тем умер. Мать жила у его замужней сестры, помогала внучат нянчить. Он снял себе по дешевке убогую квартирку в Коломенской части, во флигеле у вдовы чиновника. Служить он не хотел и жил случайными литературными заработками (больше от переводов) и подачками покровителей. Он развлекал за это их самих и их гостей своим желчным остроумием. У него было два слегка потрепанных костюма от лучшего лондонского портного, и в гостиных он выглядел совсем неплохо. Ведь он был, в сущности, молод: ему не было тридцати.

До этого женщины играли в жизни Эн-прима мало роли. Юношеские влюбленности да визиты в публичные дома... И вот он полюбил. Как говорится, в первый и последний раз в жизни. В семье было две дочери на выданье, и молодежь собиралась у них частенько. Все это было небогато, но ужасно мило и, как теперь сказали бы, интеллигентно. Его привез приятель. В первый вечер он сказал с ней (а она была младшей) всего несколько слов и на другой день удивился, обнаружив, что его снова тянет в этот уютный дом у Смоленского поля на Василь-

евском. Когда я был там последний раз, на этом месте стоял серый, огромный доходный дом...

Он стал бывать у них. Он пристрастился к этой семье, как пьяница к бутылке. Почистив свой более чем скромный костюм и истратив на извозчика едва ли не последний полтинник, он ехал в другую жизнь, мирную и дружелюбную, где ему были искренне рады. Сначала их разговоры никого не беспокоили. Но скоро родители стали замечать, как меняется Наденькино лицо при его появлении.

Какова она была? Вероятно, она была прекрасна. А может быть, и нет. Это, в сущности, безразлично. Он любил ее, и она полюбила... нашего героя. Что ж тут удивительного? Может быть, она поняла, что в ней последний смысл его жизни. А может быть, она полюбила его за необычность мнений, за несчастья, за бедность и бог знает за что еще. За что любят нас женщины? Кто может это объяснить?

Вы знаете, что у него совершенно ничего не было. Ее отец был собственником двадцати душ в Новгородской губернии, за которыми были оброчные недоимки по десять лет, да дома в Питере, который готов был развалиться.

Отец просил приятеля, который впервые привез Эн-прима, объяснить ему положение дел. Как человека благородного, его просили не ездить в дом и не компрометировать девушку. Неделю Наденька ждала его, с надеждой глядя на дверь. Наконец он сумел переслать ей записку. Она все узнала. Выяснилось, что родители понятия не имели о ее характере. Всегда мягкая и уступчивая, она сделалась теперь как кремень. Отец сердился, мать валялась у нее в ногах. Все напрасно. Она нашла возможность увидеть возлюбленного. Был решен побег.

Но он струсил. Он испугался за ее молодую жизнь — в нужде, с прирожденным неудачником и тайным подлым. Уже зная внутренне, что не решится, он готовил

побег. Один из друзей предлагал свою помощь и на первое время — свой дом. Все было готово, но наш герой пошел не на место условленной встречи, а в кабак. И долго, ох долго, не выходил оттуда...

Наденька не умерла и не ушла в монастырь. Но она разучилась улыбаться. Так говорили люди, которые видели ее через годы. Ее выдали замуж, она рожала детей, занималась хозяйством и, верно, как-то дожила свой век... Лет через десять Эн-прим совсем потерял ее из виду.

...Я уже слышал только отдельные слова, плохо улавливая смысл. Жара уже не было, кризис, вопреки опасениям врача, миновал. И я погрузился в сон, но уже не в горячечный, бредовый, а просто в молодой сон выздоровления. Спал я, должно быть, долго: когда проснулся, солнце уже было высоко. Заплетающимися ногами дотащился до параша, стоявшей за дверью, и обратно до постели. Улегся, испустив блаженный вздох, и вдруг вспомнил соседа и его рассказ. Сосед спал на своей койке, лежа на спине. Острая жалкая бородавка задралась вверх, хрящеватый нос выделялся на бледном испитом лице.

Вошел санитар Прохор, огромный мужик с искалеченной рукой, в грязном белом халате.

— Спит, — кивнув на соседа, сказал Прохор.

— Спит, — подтвердил я.

— Умаялся. Я ночью к двери подходил, слышал — рассказывает вам чего-то. Наш доктор его любит, вроде на отдых в больницу берет.

— А кто он?

— Да чиновник, на почте здесь служит. Николай Иванович Никонов прозывается. Несчастный он человек. Вдовый, неприкаянный, пьяница горький... А вам, глядь, ваше благородие, полегчало.

— Полегчало. Нет ли чего поесть, Прохор?

Я хлебал суп, а память возвращала историю Эн-прима. Итак, Эн-два был Никонов, жалкий могилевский чиновник. Зачем же он придумал себе этого двойника? И как придумал!

Через час примерно Никонов закашлял во сне, в груди у него заскрипело, как в старых настенных часах, и он открыл глаза.

...Разговор у нас плохо клеился, и я почувствовал, что с нетерпением жду продолжения. Но скоро понял, в чем дело, позвал Прохора и дал ему денег. Выпив, Никонов сначала повеселел, а потом надолго замолчал. Рассказывать он начал, когда стемнело. Сначала говорил неохотно, как бы через силу, но скоро вечернее лихорадочное оживление вернулось к нему. Он опять сидел на кровати, вытянув длинные ноги под серым солдатским одеялом. Говорил он медленно, хрипловато, изредка помогая себе рукой, с которой скатывался на плечо широкий рукав рубахи.

— ...не умерла и не ушла в монастырь... А он, этот... Эн-прим... О нем, пожалуй, можно теперь сказать в двух словах.

По сути говоря, жизнь его на этом закончилась. Он продолжал существовать, но то была, как говорится, одна оболочка. Какой может быть интерес в истории обыкновенного русского пьяницы? Еще лет пять он как-то боролся. Ему достали место мелкого чиновника в одной из западных губерний. Он женился на дочери своего сослуживца, иногда бил жену, иногда плакал у ее ног. Не скажешь, что было для нее страшнее. Сначала родилась дочь, через год умерла. Мальчик выжил, но шестнадцати лет, вскоре после смерти матери, ушел из дому и пропал без вести. Эн-прим был к этому времени отвратительной развалиной...

Я невольно бросил взгляд на Никонова, тот понимающе ухмыльнулся.

— Вот именно, вы правы. Не стесняйтесь, молодой человек. Кстати, забыл вчера спросить ваше имя.

Я назвал себя.

— Так вот, много лет его занимала одна мысль. Неужели он не мог прожить жизнь иначе? Ведь стоило ему сделать в критический миг один шаг, сказать одно слово, и жизнь пошла бы совсем другим путем. Если бы он тогда в университете просто сказал своему другу, что проклятый донос — это было наваждение... И ведь это было наваждение! Если бы он пришел тогда к своей Наденьке... Это стало его *idée fixe*. Он думал об этом каждый день и почти каждый час, а когда напивался, говорил с кем попало. Но его не понимали, смеялись, а раза два почему-то били...

Никонов замолчал. Я воспользовался случаем и спросил:

— Но откуда вам известны все эти подробности? Ведь это был никому не известный человек.

— Это был я. Ну, «пред-я», что ли. Поэтому я *не знаю*, откуда я *знаю* его жизнь. Свою жизнь вы не знаете, а *помните*. Так и я.

Он наклонился, вернее, потянулся всем телом ко мне и сказал:

— Лет десять назад я наконец нашел его могилу. И все стало на свои места. Он умер в Витебске 16 марта 1863 года. Я родился в Петербурге 16 марта 1863 года.

Глаза его опять сумасшедше блестя. Я не выдержал этого взгляда и отвернулся.

— Подождите. Прежде чем рассказать свою жизнь, я спрошу вас: разве вам не случалось смутно ощущать, что это уже с вами было. То, что происходит в данный момент. Хотя вы готовы поклясться, что это невозможно. Скажем, вы точно знаете, что приехали в город впервые. И все же чувствуете, даже определенно знаете, что когда-то видели эти улицы, дома. Ведь с вами тоже так бывало?

Я подумал и согласился: да, пожалуй, бывало. Никонов подхватил.

— Конечно, но у большинства людей это бывает редко и смутно, они не придают значения. Я же всю жизнь живу с этим. Незадолго до смерти он тоже рассказывал свою жизнь. Только не офицеру, а... помещику-поляку...

Подозрение, что я имею дело с сумасшедшим, опять появилось у меня. Но все равно хотелось слушать дальше.

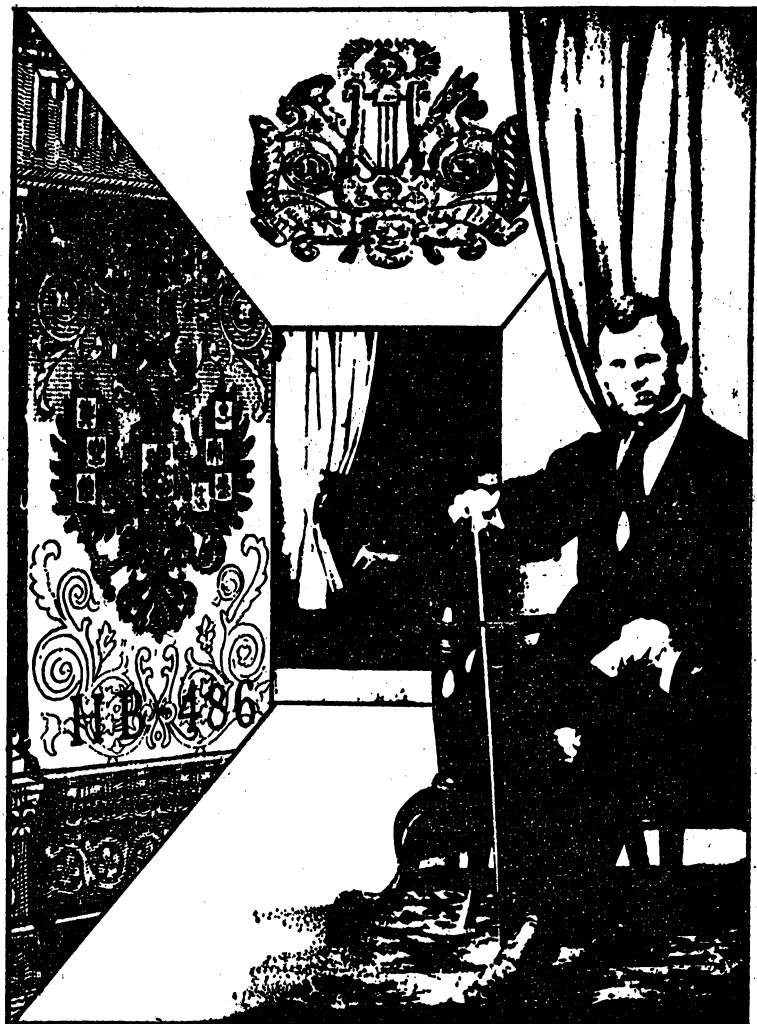
— Я окончил первую Петербургскую гимназию в памятном 81-м году. Хорошо помню первое марта, линейку в гимназии, слезы на старой лицемерной роже директора, наши смятенные чувства. С пятого класса у нас были кружки, мы читали Писарева и Добролюбова, ругали самодержавие и жандармов. Но царь, разорванный в клочья бомбой...

Семья наша жила в Московской части близ Обводного канала, и в гимназию я бегал мимо бывшего здания университета, там было в это время синодское подворье. Здание это манило меня неудержимо, даже товарищи знали об этой моей странности.

Тем же летом умер мой отец, чиновник 9-го класса по министерству финансов. У матери нас осталось пятеро, я второй после старшей сестры. Пенсия грошовая. Что было делать? Стал я набирать уроки, ходил по нескольким домам, возвращался злой, измученный, без надежды.

Наконец, года через полтора мне повезло. Я нашел урок у одного статского генерала, вдовца. Занимался я с двумя оболтусами-третьеклассниками, близнецами. Платили хорошо, так что я смог отказаться от всех остальных уроков. У близнецов была старшая сестра Вера, гимназистка выпускного класса.

Это вам не пушкинские времена и у нас с Верой была вовсе не влюбленность, а дружба, даже можно ска-



зять, на идейной основе. Я ее просвещал, таскал читать книги, что-то даже из нелегального, от знакомых студентов полученного.

Книги — книгами, а двадцать лет все равно двадцать лет... Отец был вечно занят и доверял ей во всем, так что мы проводили вместе долгие часы. И о чем только не говорили! Вера хотела, чтобы я учился, и я подал прошение в университет, на естественное отделение. Это тоже в духе времени было.

Меня приняли, и я стал ездить конкой на Васильевский, а придя к Вере, рассказывал об университете, товарищах и профессорах.

Это были, наверное, самые счастливые месяцы в моей жизни.

Но *яма* меня уже ждала. Ждала проклятая, и я ее не то предчувствовал, не то *вспоминал*...

Время было глухое, темное. После виселиц опомниться не могли. Кто боялся, кто разочаровался, кто карьеру делал и теперь уже этого не стыдился. А я? Бояться еще не научился, разочароваться не успел, карьеру делать не умел. Просто с радостью окунулся в жизнь студенческую, с охотой ходил на одни лекции, без охоты на другие... И наверно, начинал любить Веру.

Студенчество в Петербурге собиралось по землячествам. Волжские к волжанам, донцы к донцам. Я хоть был петербуржец, но пристал к вологодскому землячеству: мать моя из Вологды была, я в гимназические годы лето нередко у деда проводил. Всех вологодских студентов я в Питере знал. Лучше, чем питерских.

Был в Вологде купец 2-й гильдии Веретенников, человек, с одной стороны, совсем дикий, блудодей и охальник, а с другой — поклонник наук и просвещения. Такие фокусы у нас на Руси бывают. Этот купец на свои деньги народное училище содержал, нескольким студентам пособие выплачивал. Деда моего, мать и меня он хорошо знал. Когда в Питер приезжал, всегда к нам заходил.

Прихожу я раз из университета, а у нас Веретенни-

ков сидит, пьяный уже изрядно. «Я, говорит, Николка, вчера хорошие деньги на бегах выиграл, хочу землячеству вашему пятьсот рублей отвалить. Зайди ко мне завтра в «Бельведер» за ними». Жил он всегда в самых лучших гостиницах.

А надо вам сказать, что землячество наше было нищее. Кто нуждался, кто вовсе голодал. Я дома жил, мне много легче было. А из других кто двадцать рублей от родных в месяц получал, тот и богач. Любую работу брали, переписывали, чертили, даже посуду мыли. И, конечно, взаимопомощь была. Знаете, говорят: итальянцы живут тем, что дают в долг друг другу. Вот так и мы. Ради этого и землячества были. Но полиция их разгоняла, искореняла. Землячества распадались, потом снова собирались.

Пятьсот рублей от Веретенникова были большие деньги. В тот же вечер я побежал к курсисткам сестрам Холиным, где вологодцы собирались, и все им рассказывал. Тут еще товарищи подошли. Восторг был всеобщий, чай пили, песни пели.

Стали деньги распределять: столько-то на вечеринку праздничную, столько-то на журналы артельно подписаться, двести рублей — на помощь самым бедным — кому есть нечего, кто за квартиру задолжал. Споры шли веселые, шумные. «Пальто Сергееву купить!» — крикнул кто-то, ответом были хохот и голоса одобрения. Этот Сергеев, добрейший парень, всю осень ходил в пиджачке, так как пальто продал старьевщику ради спасения из полицейской части какой-то заблудшей души женского пола.

На другой день пошел я к Веретенникову в «Бельведер» на Невском, против Аничкова, и получил пачку хрустящих кредиток. Столько денег сразу я никогда не видел. Они уютно лежали у меня во внутреннем кармане и как будто согревали.

И тут же, едва выйдя на улицу, я встретил Булатова. Этот Булатов был товарищ мой по гимназии. В уни-

верситет он не пошел, служить не торопился, а пока неплохо жил на отцовские деньги. И не был я с ним в гимназии особенно близок, а тут вдруг как с родным увиделся. Через пять минут я почему-то рассказал ему о деньгах Веретенникова.

Странно, но Булатов, выслушав меня, как будто пропустил мой рассказ мимо ушей и сказал:

— А не пойти ли нам к Марцинкевичу? Там неплохо бывает.

Марцинкевич держал недорогой танцкласс на углу Гороховой и Фонтанки. Я там раза два до этого был. Собирались студенты, чиновники и всевозможный иной люд среднего достатка. А женщины — от откровенных проституток до целомудренных невест.

Я был не очень большой охотник до таких развлечений и в другой раз, возможно, отказался бы. Но в этот вечер что-то неумолимо толкало меня, и орудием этого чего-то был беззаботный Булатов.

Пошли мы по Фонтанке. Врезалась мне в память картина: ярко освещенный подъезд только что тогда отстроенного Малого театра и подкатывающие экипажи. Там гастролировала, кажется, какая-то французская труппа. Помню, я вопросительно поглядел на Булатова: не лучше ли это Марцинкевича? Он улыбнулся и едва заметно покачал головой. И я пошел дальше как овца на заклание! А ведь мог Булатов соблазниться француженками, чьи раскрашенные фотографии в волнующих позах были выставлены за стеклом. Другой раз бы соблазнился, а в тот вечер — нет.

Бал у Марцинкевича был в разгаре. Мы купили билеты, сняли влажную от мелкого холодного дождя верхнюю одежду и вошли.

И я сразу опьянел от музыки, шума, женского смеха, от самого воздуха, насыщенного испарениями потных тел и запахами духов. Я опьянел еще до того, как в буфете выпил рюмку дорогого коньяка (угощал Булатов). Но следующей рюмкой угощал уже я — и не одного

Булатова, а еще двоих его приятелей, с одним из них и я был немного знаком.

Когда в зале я увидел Сашеньку (я, конечно, еще не знал, что ее зовут Сашенькой), мне уже было необыкновенно легко, тепло, весело.

На ней было светло-розовое шелковое платье с белой меховой оторочкой вокруг глубокого декольте. Нежное личико, окаймленное короной светлых, золотистых волос. Головка на длинной тонкой шее. Прелестная фигурка, чуть удлиненная и точно летящая.

Она была немного выше своего спутника — темно-волосого мужчины лет пятидесяти, вероятно, преуспевающего дельца или крупного чиновника.

Булатов слегка усмехнулся, когда я застыл перед этим чудным видением в розовом платье.

— С кем она? — коротко спросил он одного из приятелей, только что пивших с нами коньяк.

— Новый содержатель. С прошлого месяца, — услужливо ответил тот.

Они о чем-то пошептались, мне было не до них.

— А сумеешь? — спросил Булатов.

— Попробую. Забавно.

Что именно произошло, я так никогда и не узнал. Вероятно, приятель Булатова затеял спор, а потом скандал с ее кавалером. Шум, крик, женский визг взметнулся как вихрь. Кто-то хохотал, кто-то свистел, кто-то звал полицию.

Булатов нырнул в толпу и через минуту вынырнул из нее с Сашенькой, уцепившейся за его руку, не то плакавшей, не то смеявшейся.

В это время оркестр грянул галоп, заглушая скандал, и все бешено завертелось и понеслось. Сашенькин кавалер исчез где-то среди этого содома. Мы выскочили из зала и сбегали по лестнице: Булатов с Сашенькой, я и еще двое или трое.

— Дай ему пятерку! — бросил мне Булатов, указывая на швейцара.

Тот все мгновенно уловил и метнулся за Сашенькиным манто. Булатов схватил свое и мое пальто, я сунул швейцару пять рублей, дверь перед нами сама открылась.

Лихачи всегда ждали у заведения Марцинкевича. Булатов успел сказать:

— Сашенька, мой друг безумно в вас влюблен. Считайте, что это он вас похищает.

Он застегнул за нами полость коляски и крикнул кучеру:

— Гони к Палкину!

Я остался с Сашенькой, лошади рванули, она прижалась ко мне. Мне казалось, что я мчусь не по ночному Петербургу, а лечу где-то среди звезд... Сашенька сказала:

— Как хорошо, что вы меня похитили.

Голос у нее был именно такой, какого я ждал: колокольчик.

До ресторана Палкина было рукой подать. Нас провели в отдельный кабинет. Приятель Булатова, который затеял скандал, был теперь тоже с нами, слегка помятый и со свежей царапиной на щеке. За столом уже сидело семь или восемь человек, среди них две неизвестно откуда взявшиеся женщины. Но королевой была Сашенька, а я принцем сидел по правую руку от нее.

Дальше все смешалось. Я пил, пел и без конца целовал Сашеньку под крики «горько!» и без всяких криков. Компания несколько раз менялась или мне это только казалось? Нет, приятель Булатова, устроивший мое счастье, несомненно, исчез с одной из женщин, а на его месте сидел теперь какой-то смуглый молодой человек кавказской наружности. Или это был цыган? Я требовал у Булатова объяснений по этому поводу, но Сашенька ласково пригибала мою голову себе на грудь, и я забывал про Булатова, его приятеля и кавказца...

Утром я проснулся в незнакомой комнате. Окно было закрыто шторой, но сквозь щели сочился свет серого

дня. Комната была обставлена с претензией на роскошь, прямо против кровати стояло большое трюмо, и при тусклом свете я увидел свое бледное опухшее лицо. На подушке рядом лежала Сашина головка, волосы разметались и щекотали мне шею. Несколько минут я лежал неподвижно, припоминая вчерашний вечер. Припомнить я мог только до того момента, когда я совал за что-то деньги старому чернобородому цыгану с гитарой и заказывал полдюжины шампанского... Дальше был сплошной туман...

Увидев на спинке стула свой пиджак, я воровато вылез из-под одеяла и трясущимися руками достал деньги. Там было рублей сто с какой-то мелочью. Я застонал и ухватил себя обеими руками за нечесанные космы...

В этот день я истратил на Сашу оставшиеся деньги, все равно их было мало. Позавтракав с вином, мы поехали на лихаче по магазинам, и я покупал какие-то платки, ботиночки, безделушки, пока она сама не сказала: «Милый, оставь на ужин».

Домой я попал лишь на третий день. Родные за меня не очень беспокоились: я нередко оставался ночевать у одного приятеля.

...Кстати, Булатова я с тех пор никогда в жизни не видел. Я думаю, он даже и не знает, как пошла моя жизнь после того, как мы расстались в ресторане Палкина. Вот что я называю роковым человеком. Почему встретился он мне в тот вечер на Невском? А если бы я перешел у Александринского театра на другую сторону? Я всегда помнил, что собирался это сделать, но потом почему-то решил пройти еще квартал. Странно... Может быть, все это было predetermined той моей первой жизнью? От этих вопросов у меня только голова пухнет.

После растраты денег положение мое было ужасно. Взять пятьсот рублей мне было негде, между тем товарищи знали, что я их получил от Веретенникова.

Я сказался больным и засел дома — подумать. Но, конечно, сколько я ни думал, толку не выходило.

На третий или четвертый день зашел один студент, стеснительно спросил о здоровье и отдал записку кассира нашего землячества Добровольского. Что-то у этого студента приключилось печальное, Добровольский просил выдать ему из полученных денег двадцать рублей под расписку.

Как мог спокойно, я сказал, что деньги мне Веретенников отдал в процентных бумагах, они на хранении в банке, и надо их еще продать, но я спрошу мать, нет ли у нее. Мать поворчала, но деньги взаймы на два дня дала. Студент ушел.

Но что-то в моей болезни и поведении, видно, было фальшиво. Может, и слух о кутеже моем каким-то образом дошел, не знаю, только еще дня через два пришел ко мне сам Добровольский.

Был он всем, даже фамилией, похож на Добролюбова. Тоже из семинарии, ригорист строжайший, ни к себе, ни к другим снисхождения не знал. Чист как стекло.

Лгать ему было для меня сущей пыткой. Но я лгал, а он не верил. Мать моя, которая знала его самого и его семью, хотела напоить его чаем. Он отказался. И весь бледный, натянутый как струна, сказал, уходя и не подавая мне руки: «Слушай, Никонов, у тебя еще есть три дня. После этого не взыщи».

Мать, кажется, слышала последнюю фразу, пришлось солгать и ей. Раньше я никогда в жизни столько не врал, как в эти дни.

Я подумал: первый раз сосед назвал себя по фамилии. И еще подумал: до чего ж разнообразны несчастья людей. Так разнообразны, что никакого средства против них не придумаешь.

За окном был теплый августовский вечер. И трудно было представить себе холодный Петербург, пахнувший угольным дымом и сырой мглой. Я и был-то в Петербурге однажды всего несколько дней.

Никонов налил себе полстакана из почти опорожненной бутылки, крикнул и продолжал:

— Вечером я оделся поаккуратнее и пошел к Вере. Больше-то идти было некуда. И в мыслях у меня не было ей исповедоваться, но она уже через пять минут поняла, что со мной неладно. Мы сидели, как всегда, в ее комнате. Вещи несут на себе отпечаток хозяина. Комната была такая же девственно чистая и спокойная, как Вера... Скоро я уже рассказывал, как все было. Всё — включая и Сашу, как это ни было трудно. А через полчаса я рыдал, положив голову на стол и размазывая по нему слезы. Ее рука едва заметно касалась моих волос.

На другой день я получил от Веры ее кошелек с вышитым вензелем. В кошельке было десять билетов по 50 рублей. Как я ни добивался, она мне не сказала, что это за деньги. Может быть, это было наследство матери, может быть, она попросила у отца? Только из романов я знал, что женщины в крайних обстоятельствах, чтобы спасти дорогого человека, закладывают свои драгоценности. Может, Вера сделала это, хотя страшно было представить ее в лавке процентщика. Мне не пришлось узнать, откуда взялись деньги. Мне не пришлось больше увидеть Веру.

Полный любви и благодарности, вышел я из генеральской квартиры на Большой Морской и сел в конку на Петербургскую сторону, где жил Добровольский. По Неве шел лед, через несколько дней она должна была стать на зиму. Петропавловский шпиль едва был виден в тумане. Проехав Кронверкский проспект, я протолкался к выходу и соскочил, не дожидаясь, пока лошади остановятся. Кроме меня, сошел только пожилой, плохо одетый чиновник (почему-то я хорошо его помню, кажется, даже теперь узнал бы!). Конка тронулась с дребезжащим звоном и скрылась в ущелье Каменноостровского проспекта.

Я сунул руку в карман и похолодел. Денег не было.

Что было дальше, я плохо помню. Кажется, я шарил во всех карманах и при этом что-то громко говорил.

Я рассматривал липкую грязь под ногами, опять что-то говорил и плакал на глазах у нескольких прохожих, собравшихся вокруг меня.

Потом, ничего им не объясняя, бросился бежать вслед за конкой, пробежал два квартала, задохнулся и встал, прислонившись к черной и мокрой стене дома.

Постояв так минуты две и увидев подходящую конку, влез в нее. Забившись в угол, поехал до конечной станции. Там я бродил среди распряженных лошадей, мрачных кучеров и суетливых кондукторов, напрасно отыскивая мою конку.

Я уже понимал, что все пропало, но еще должен был что-то лихорадочно делать, искать, спешить.

Скоро и это прошло, осталось одно тупое отчаяние. Я поплелся пешком через весь город, темный и враждебный. Помню, остановился у тускло освещенного окна аптеки где-то у Тучкова моста и подумал: а интересно, нельзя ли украсть здесь яда?

Потом долго бродил по Васильевскому острову, заходил в какие-то двери, где-то потерял фуражку. Какие-то люди пытались со мной заговорить, но я уходил от них.

Домой я пришел в двенадцатом часу, страшно грязный, мокрый и иззябший. Ночью мне стало худо. Был жар, бред. То чудилось мне палящее солнце, какая-то наклонная стена, по ней на веревке ползет Верин кошелек с вензелем, я тянусь к нему, лезу вверх, ломая ноги о камни, а кошелек ускользает, и кто-то грубо хохочет. То видел я себя окруженным толпой каких-то негодяев, они перебрасывали мой кошелек, били меня и кричали. Мать потом говорила, что я рвался так, что они с младшим братом едва могли меня удержать.

...Болея долго и трудно, а едва поправившись, уехал к родным отца в Тихвин. Мать говорила: когда я был в бреду, приходил Добровольский с незнакомым ей

студентом-технологом. Постояли, покачали головами и ушли.

Прошло лет пять. Умерла моя бедная мать. Братья и сестры как-то рассеялись. Я поселился в маленькой убогой квартирке на пятом этаже. По соседству с тем местом, где мы жили с отцом и с матерью. Со мной жила сестра, некрасивая двадцатилетняя девушка. Она брала на дом швейную работу.

Добровольского не было в живых, другие вологодские, знавшие мое преступление, разъехались.

Известно мне было, что Вера вышла замуж. Я не делал попыток увидеть ее.

Я опять занялся репетиторством, потом был местным репортером в одной газетенке, стал пописывать. Бросил и Писарева, и естественные науки, и, конечно, университет. Изредка были деньги, чаще не было. Но мы не голодали. Кажется, я постепенно оживал и начинал на что-то надеяться.

Слушайте же, чем это кончилось...

— Я устроился в редакцию одного журнала, солидного и с направлением. «Отечественные записки» были правительством закрыты, в силу входил Победоносцев. Ну да вы знаете, как это называется: реакция. В нашем журнале собрались люди либеральные, образа мыслей благородного.

Беллетристику и поэзию вел в журнале Плешаков Петр Николаевич. Большой душевной чистоты был человек. Петрашевец, каторжанин... Из стариков он один, я думаю, и оставался кумиром у молодежи.

Ко мне он очень хорошо относился. Я был в редакции первый его помощник: разбирал письма и рукописи, ведал перепиской с авторами, иногда по поручению Петра Николаевича сам писал им ответы. Очень любил он молодые таланты открывать и поднимать.

Могу точно сказать, когда это произошло: в феврале 87-го. В Ялте умер Надсон. Вам, пожалуй, невозможно

себе представить, какое общественное волнение вызвала эта смерть. Вы знаете Надсона?

Я признался, что хоть имя знаю, но стихами вообще-то не слишком интересуюсь.

Глаза Никонова затуманились, потом блеснули, и, слегка подвывая, он прочел:

Червяк, раздавленный судьбой,
Я в смертных муках извиваюсь,
Но все борюсь, полуживой,
И перед жизнью не смиряюсь.

— Трудно теперь объяснить, как впору пришелся тогда Надсон. Этот упадок, отчаянье и вместе с тем смутный порыв к добру, бессильное желание действовать во имя добра... И все это воплотил в себе юноша-поэт с лицом раннехристианского подвижника. Чистый высокий лоб, печальные, прекрасные глаза. В них была точно вся мировая скорбь...

Сама смерть Надсона — ему было 24 года — воспринималась как часть его поэзии. Тело привезли в Петербург и хоронили на Волковом кладбище при огромном стечении народа. Полиция с ног сбилась...

После похорон прошло недели две.

Однажды утром я, как обычно, пришел в редакцию и занялся разбором почты. Пакеты и письма, адресованные лично Плешакову, я не вскрывал. В этот день попался один такой — самодельный, склеенный из серой оберточной бумаги с обратным адресом в Псков. На имя я сначала не обратил внимания. Петр Николаевич зашел в середине дня и пожаловался на нездоровье. Он был сильно простужен. Кто-то стал давать ему советы насчет лечения, он отшутился, но вскоре собрался уйти домой. Я показал ему почту, в ней был тот пакет. Плешаков сказал:

— Голубчик, Николай Иваныч, не откажите в любезности, посмотрите сами, а я пойду. Голова разламывается, и глаза не смотрят. Если найдете нужным, по-

шлите мне домой, если нет — ответьте сами или задержите ответ на несколько дней.

Он зябко закутался в доху и уехал на извозчике, который ждал его.

Я разрезал пакет большими ножницами и достал содержимое. Там было письмо на имя Плешакова, двойной лист линованной бумаги со стихами и тетрадка в черной мягкой обложке. Я посмотрел на подпись: учитель городского училища в Пскове Андрей Брянцев. Тот же почерк, что на пакете, — ученически четкий, но какой-то тревожный, нервный, ломкий. В почерках я неплохо разбираюсь... Никаких указаний на возраст не было, но я готов был ручаться, что автор очень молод.

В письме было: «Милостивый государь Петр Николаевич! Надеюсь на Вашу снисходительность и доброту...» Брянцев посылал свои стихи на смерть Надсона и тетрадь, в которой содержалось «все то, что я считаю достойным Вашего внимания».

Что вам сказать об этих стихах? Тем более вы сами признались, что не любитель. Но это вы бы почувствовали! Что-то было в стихах этого юноши волнующее, обещающее. Вероятно, он изрядно подражал Надсону. Но там было нечто иное, чем у Надсона, мужественное и суровое. О стихах бесполезно рассказывать, как о музыке... Может быть и так, что стихи были плохие, а мне придумалось. Как бы то ни было, я часто видел потом во сне эту тетрадь, и в ушах у меня звучали строки. Когда я просыпался, мне в первые секунды казалось, что я сейчас вспомню... Одно время, ложась в постель, я клал рядом карандаш и бумагу. Но ничего не вспоминалось, вернее, почти ничего... Один отрывок начинался так:

Смерть подошла и заглянула
В мое склоненное лицо...

Я взял тетрадь из редакции домой и перечитал стихи Брянцева. На другой день, придя в редакцию, я первым делом написал ответ. Потом взял пакет, положил в

него свой листок, стихи на смерть Надсона и тетрадь. Запечатал пакет и отдал курьеру для отсылки.

В письме было: «Уважаемый господин Брянцев! Редакция, к сожалению, не может опубликовать Ваши сочинения. Мы полагаем также, что Вам следовало бы обратить силы на более свойственные Вашим способностям занятия. Последнее не исключает, разумеется, сочинения стихов для собственного удовольствия».

Дальше шла неразборчивая подпись.

Никонов заметил мой изумленный взгляд и сказал:

— Сколько бы я ни копался в себе, не могу вам объяснить этот поступок. Говорят: «точно кто-то водил моей рукой». Или к примеру: «дьявол попутал». Все это одинаково бессмысленно. Сделал, и все тут. Вас никогда не томит желание сделать что-то дикое, бессмысленное? Вдруг громко закричать в полной народа зале? Или ударить стоящего рядом незнакомого человека? Точно кто-то властно диктует вам, и приходится собирать волю, чтобы сопротивляться. Что-то подобное со мной происходило, и я поддался...

— Потом-то я понял, — Никонов понизил голос до шепота и перегнулся ко мне через край кровати, так что я невольно отпрянул. — Я понял, что это было *повторение*. Все это уже было один раз в ином виде и должно было повториться...

Он устало отодвинулся и опустил голову на подушку. Я молча ждал продолжения.

— Прошла неделя, другая. Казалось, я забыл о Брянцеве и его стихах. Плешаков болел и не вспоминал о пакете из Пскова. Но день за днем неведомый Брянцев все чаще стал ко мне возвращаться. Скоро я и думать больше ни о чём не мог. Я должен был узнать — а какой он, Брянцев? Что он сказал и сделал, получив мое письмо? Пожаловался другу, любимой женщине? И есть ли у него любимая женщина?

Поезд в Псков пришел утром, часов в семь. Идти к Брянцеву было еще рано, я зашел в вокзальный буфет выпить стакан чаю. От бессонной ночи и промозглого холода ранней неуютной весны меня познабливало. Время от времени бессмысленность моего поступка напоминала о себе, и я вслух грубо ругал себя. Впрочем, на меня никто не обращал внимания.

Я взял извозчика и велел ехать в училище. Домой к Брянцеву я решил пока не ходить. Мутнело серое утро. Деревья на бульваре уныло опускали ветки. Церквушки, приземистые и кривобокие, торчали среди потемневших сугробов. С реки дул жесткий неприятный ветер.

Подъехали к училищу. Убогое бревенчатое здание в два этажа. Я отдал двугривенный и с бьющимся сердцем вошел в сени. Почему-то мне казалось, что я сейчас увижу Брянцева... И скажу, что случилось недоразумение.

Но я увидел только мальчика лет двенадцати в старом армячишке. «Господина Брянцева, учителя, знаешь?» Он дико смотрит на меня, поворачивается и убегает. Странно.

Появляется сторож, солдат-инвалид, и проводит меня к инспектору. Навстречу встает симпатичный широколицый человек лет под тридцать со здоровым румянцем на щеках. Морозов...

Представляюсь. Морозов краснеет и бледнеет от изумления и радости: Петербург, столичный журнал... Точно сам Михайловский вошел в его крошечный кабинет с колченогими стульями.

Брянцев... Вдруг при упоминании этого имени его скуластое мужицкое лицо как-то передергивается и болезненно морщится.

— Андрюша... Андрюша на прошлой неделе застрелился...

Где-то я слышал красивые слова: железный ветер несчастья. Тут я почувствовал, как он дует и пронизывает до костей. В этом ветре был запах мерзлой револьвер-

ной стали, стылых рельсов, чего-то еще ржавого и страшного.

Морозов сопел как мальчишка, пытаясь сдержать слезы. Да, такой человек мог любить Брянцева и, несомненно, любил его.

Мы сидели молча. Я спросил его: как, где... Вопрос *почему* не шел на язык.

«Ушел утром из дому и в городском саду...» Я потом ходил в сад. Грязный талый снег, бурые, еще безжизненные деревья. На это он взглянул в последний раз и... Неудержимая дрожь сотрясала меня. Я почти бегом выскочил из сада, зашел в трактир, спросил рюмку водки и жадно выпил...

Но это было потом. А теперь надо было объяснить Морозову мой приезд. Я солгал, что один из моих коллег, знавший Брянцева, советовал мне зайти к нему и посмотреть его стихи. Я же в Пскове по другим, своим личным делам. Я подчеркнул личным, чтобы не было расспросов. Но Морозов и не думал об этом.

Мы пошли к Брянцеву на квартиру. Ему было двадцать два года, он был неженат и жил (как и я) с младшей сестрой. Нас встретила миловидная белокурая девушка с медлительной речью. Она теперь собиралась уехать к тетке в Москву. В Пскове были только могилы родителей и брата.

Никаких бумаг от него не осталось. Она думает, Андрюша все сжег вечером накануне того дня. Она уходила к подруге, а когда вернулась, увидела около печки какие-то клочки. И много свежей золы.

Морозов, горестно подтверждая ее слова, мерно кивал головой. Она показала нам пустые ящики письменного стола Брянцева. Потом достала фотографию, и я впервые увидел его лицо.

Что скажешь о лице человека?

Приятный овал, густые светлые волосы, юношеская бородка. Ничего это не объясняет и не определяет. Так и выглядел Брянцев. Но разве это все?..

— Возьмите, если вам угодно, на память, — сказала сестра. — У меня несколько таких карточек. Он в конце прошлого года снимался: я просила, точно чувствовала.

Я неловко сунул фотографию в карман и стал протыкаться. Морозов звал меня к себе, я отказался, и, кажется, довольно невежливо. Он посмотрел на меня с удивлением, может быть, и с обидой. Я отговорился делами и избавился от него.

Поезд был только поздно вечером. Побродив по городу, я пошел в гостиницу и взял номер. Лег в постель и вдруг заснул мертвым сном. Проснулся только ночью, на поезд опоздал. Так я прожил в псковской гостинице «Лондон» неделю, почти не выходя из своей комнаты.

Там я впервые понял, что живу вторую жизнь, и все, что со мной происходит, каким-то образом уже раз было. Может быть, не совсем так, немного иначе, но было...

Никонов достал из тумбочки, стоявшей около кровати, потертый черный портфель, вытащил оттуда пачку бумаг и протянул мне одну бумагу, сложенную вчетверо и порванную на сгибах. Я осторожно развернул ее. Это было свидетельство о смерти титулярного советника Коновалова, умершего в Витебске 16 марта 1863 года на 51-м году жизни.

— Вот так-то, — сказал Никонов, отбирая у меня документ.

— Как это к вам попало? — спросил я.

Он хмыкнул, помолчал и сказал:

— В губернском архиве нашел. Украл.

Потом отправил всю пачку в портфельчик и положил его на место...

— Мне нечем было расплатиться за гостиницу, — продолжал рассказывать Никонов. — Пришлось телеграфировать сестре, она где-то заняла деньги и прислала. Я уехал.

В Петербурге была весна, опять пасмурно и сыро,

ночью — пронизывающе холодно, ветрено. В первый же вечер я где-то напился. Хорошо помню: была именно такая безжалостная ночь. По Обводному плавали разбитые льдины, уже тянулся, шлепая лопастями, буксир. И в этой черной, как деготь, воде, в которой качался отсвет фонаря, было что-то знакомое. Мучительно знакомое.

Никонов замолчал надолго. Я наконец спросил:

— И что же?

— А что? — отозвался тот. — Дальше как по проторенной колее. Только за границу не ездил и девиц не пытался увозить. Опускался все ниже и ниже в болоте петербургской журналистики, пока не дошел до дна. Потом вот уехал сюда, служил, женился, овдовел...

Он махнул рукой.

— Но это все одна внешность, — сказал он, опять понизив голос. — Больше всего я занимался тем, что... вспоминал. *Ту* жизнь вспоминал. Иной раз неделю ломал себе голову над каким-нибудь пустяком и радовался, если удавалось вспомнить. Часто это приходило во сне. Но иной раз не давалось до смертной муки. Это и теперь бывает. Особенно страшно, когда я чувствую, что в первой жизни сделал какую-то ошибку. Я хочу избежать ее во второй, но не могу вспомнить суть дела. Это ужасно. И еще. Я ищу *его* записки. Записки были, я это точно помню. Где-то они и теперь есть. Впрочем, теперь уж, пожалуй, все равно. Спите-ка. Вам надо много есть и много спать.

Я проснулся от холода и от стука закрываемого окна. Свет заслоняла огромная спина Прохора. Я бросил взгляд на соседнюю койку, Никонова не было. Я пошевелился, Прохор обернулся и сказал:

— Ушел. Опять ушел, окаянный.

— Куда ушел?

— А кто его знает. Может, просто домой. А может, дома переоделся и в Витебск уехал. Его как тоска одо-

леет, он в Витебск едет. На могилу на какую-то. А кто там похоронен, не говорит.

Я-то знал, кто там похоронен. Но это же безумие!

Когда Прохор вышел, я сполз со своей постели и взглянул в тумбочку около соседней кровати. Там была пустая бутылка и больше ничего.

В тот же день меня перевели в общую палату, а через неделю от тесноты, смрада, скуки я запросился из больницы.

В феврале 17-го, за несколько дней до революции, я, раненный, залеченный в госпитале и отправленный в отпуск (из которого в армию не вернулся), проезжал через Могилев. Вспомнилась мне та больница. Я рискнул потерять день, слез с поезда и зашел туда. Врач, который советовал мне написать домой, сам умер от сыпняка, но Прохор был жив-здоров.

— Помнишь меня? — спросил я Прохора.

— Как не помнить, — отвечал тот, но видно было, что он лукавит.

— С Никоновым я лежал...

— А, так бы и сказали, ваше благородие...

На длинном лошадином лице Прохора появилось что-то напоминавшее улыбку.

— Помер он, Никонов-то. Почитай месяц прошел или около того. В Витебск опять таскался, да простыл, видно. Зима ведь, а одежонка у него худая. Да и доктора Алексея Иваныча уже не было, царствие ему небесное. Так дома и помер. Соседи кое-как похоронили.

Я пошел на городское кладбище. Сторож показал свежую могилу. На выкрашенном зеленой краской грубом кресте была прибита жестяная табличка: «Титулярный советник Николай Иванович Никонов 16 марта 1863 — 31 января 1917».

Не раз приходилось мне потом бывать в Петрограде и Ленинграде. Каждый раз, глядя в воду Невы, Фонтанки или каналов, я вспоминал Никонова и его две жизни.

ДРУГ, КОТОРЫЙ МОГ БЫТЬ

Из моего ленинградского дневника 1947 года:

28 января... Походил по Невскому, рассматривал фигуры Аничкова моста, холодно, ветер. Стало жаль бедных голых юношей... Был у Ядвиги Петровны Ганецкой на Литейном. Это совсем старушка, оказывается. И притом не все у нее в голове как положено. Войну-то она в Ленинграде пережила. Но Мишу она, видно, любила. Всплакнула даже. Ничего нового она не сказала: ушел и сгинул. Надо повидать парня, который ходил разыскивать Мишу. Взял у Ядвиги его адрес.

1 февраля... Мороз еще крепче, чем в последние дни. Сложились строчки: «Мосты над Невой в дымке тумана, к своим постаментам примерзли львы...» Примерзли — это, кажется, неплохо. Но рифмуется с «Невы», а Нева уже использована... Ходил к Борису, Мишиному приятелю, говорил с ним и его мать. Но разыскивал-то он не сразу после того, как Миша пошел в больницу и исчез, а через несколько месяцев. Что он мог найти?..

Мне было 19 лет. На зимних студенческих каникулах я поехал из Москвы в Ленинград. Жил у приятеля, Сашки Концова, в его маленькой комнатке на Суворовском проспекте. Сашка был влюблен и счастлив, приходил домой поздно ночью и спал до полудня, так что я его и видел-то мало. Я был влюблен в Ленинград первой пылкой любовью и, несмотря на морозы и скудный харч, с утра до вечера бродил по городу и музеям. Дневничок мой за эти две недели забит восторгами и педантичными описаниями маршрутов и музейных залов. Честно говоря, я это, кажется, никогда не перечитывал. А вот в лаконичные записи о поисках следов Миши Колесникова я вчитываюсь теперь с мучительными усилиями вспомнить... Вспомнить, как это было.

В Москве я жил тогда в семье Мишиных отца и матери, как он жил в Ленинграде в семье Ганецких. Миша бесследно исчез в осажденном Ленинграде в январе сорок второго. В августе предыдущего года ему минуло шестнадцать. Я знал его только по фотографии, которую рассматриваю и сейчас: лобастый, не по годам взрослый парень, с упрямым, слегка набычившимся каким-то взглядом. Помню, я всегда завидовал таким ребятам; сам я был длинный, тонкий и в очках.

Не могло быть никакого сомнения, что Миша погиб. Мария Сергеевна разумом понимала это, а вот сердцем... Миша был ее единственный сын и единственный ребенок. У старика Колесникова были дети от первого брака, среди них еще один сын — инженер Александр Колесников, который осенью 1942 года погиб на изысканиях железной дороги. Оба сына погибли от войны, хоть и не на войне. Впрочем, можно ли сказать о тех, кто умер в ленинградской голодной блокаде, что они погибли не на войне? Да и как погиб Миша, неизвестно и теперь уже останется неизвестным.

Подъезды старых домов по-разному пахнут в Москве и Ленинграде. В Москве — затхлым теплом и каким-то хлебным уютом, в Ленинграде — сыростью и табачным дымом. Вернее, по-разному пахли в 40-х годах, когда я в таких домах жил и бывал. Теперь живу и бываю в новых, которые во всех городах пахнут, наверное, одинаково — свежей краской, известью и сквозняками.

По Невскому ходили дребезжащие трамваи довоенного образца. Стоило отойти на квартал и можно было увидеть следы разрушений — расчищенные площадки с темными брандмауэрами уцелевших домов и просто обгорелые остовы, когда-то бывшие человеческим жильем. Но на фасаде этого прекрасного дома на Литейном, богатого доходного дома времен русского капитализма, почему-то никаких следов войны не было.

Я поднялся на третий этаж по широкой лестнице со стертymi мраморными ступенями и позвонил. Послышались шаркающие шаги, и старушечий голос спросил, кто там. Я ответил, что мне нужна Ядвига Петровна, и, услышав, что это она и есть, объяснил, что я из Москвы от Мишиных родителей. За дверью наступило молчание, наконец замок щелкнул, дверь медленно открылась. В прихожей было темно и почти пусто...

В ее речи были еле слышны следы акцента — как я знал, польского. Я снял в прихожей пальто, протер запотевшие очки, сказал о здоровье Колесниковых. Ядвига Петровна открыла дверь комнаты и пропустила меня. Мы прошли через маленькую проходную комнату, где когда-то жил Миша. Главная комната была заставлена массивной старой мебелью, темной и как будто пыльной. Все в этой квартире казалось покрытым пылью, как и сама хозяйка с землистым лицом и жидкими полуседыми волосами. Я огляделся. На стене против двери висел большой портрет мужчины средних лет в путейском мундире царских времен.

— Роберт Робертович умер той весной, в сорок втором, — сказала она.

Я молчал.

— Умер. Все умерли. Я вот зачем-то живу.

Что тут скажешь?

...Пили чай. Мне хотелось есть, но я стеснялся и старательно жевал кусочек хлеба с маслом. Разговаривали.

Миша поселился у них летом сорокового. Мать оставила его на попечении Ядвиги Петровны.

— Тогда-то, молодой человек, я была молодцом... Кавалеры были... Мишенька экзамены сдавал в свой техникум, конкурс (она говорила конкурс) был строгий, не надеялся поступить. А когда все-таки приняли, так был счастлив. Принес бутылку вина, и я испекла катаринки. Вы никогда не пробовали катаринки? Надо взять фунт меда, ром, обязательно лимон... Когда же я в последний раз их пекла? Ах да, на день рождения Роберта Робертовича, в мае того года...

Я понял: сорок первого.

Говорить с ней было трудно. Она сбивалась, начинала вдруг рассказывать о давно прошедших временах, как они с Робертом Робертовичем жили в Сибири, на постройке железной дороги. (Все они были сибирские инженеры, строители: Ганецкий, Мишин отец, Мишин брат Александр — и мой отец тоже). Я осторожно возвращал ее к разговору о Мише. Она начинала рассказывать, какой он был замечательный мальчик, как хорошо учился, как часто писал родителям. Как увлекался морем и кораблями.

В начале июня их отправили в Ригу на морскую практику, там его и застала война. Он вернулся в Ленинград грязный («я его тут же в ванну отправила, еще было чем истопить»), усталый и потрясенный тем, что увидел.

Но дальнейшее узнать от нее было почти невозмож-

но. Точно с памятью ее что-то случилось. Кажется, техникум их распустили... Где-то служил, ходил в какое-то плавание, потом почему-то уволился. А зима надвигалась. Голод.

Она замолкает и неподвижно смотрит в одну точку, так что мне становится жутко. Потом плачет, вытирая глаза крошечным платочком. Достает какое-то лекарство, руки у нее дрожат. Я беру пипетку и капаю в старинный хрустальный, не очень чистый стакан.

Откуда взялась эта любовь к морю? Когда мальчику было лет семь, мать прочитала ему «Алые паруса» Грина.

Ах, какая это опасная книга! Прекрасная и опасная. У нас в семье Грина не было, и лет до шестнадцати я не подозревал, что есть такой писатель. Его мало издавали в то время. Но однажды я попал на литературный концерт в зале Омской областной библиотеки. Актриса читала «Алые паруса». Не знаю, хорошо или плохо она читала, но что со мной было! Мне хотелось плакать и смеяться, любить, совершить во имя любви что-нибудь необыкновенное...

— С «Алых парусов» все и началось, — рассказывает мне Мишина мать. Окно открыто, под окном школьный двор. Как птицы щебечут дети.

— На море я его в три года первый раз повезла. Кашлял он той зимой, вот врач и посоветовал в Анапу. Потом он каждый год с весны начинал спрашивать: «Мамочка, а на море мы поедem?» Почти каждый год и ездили... А как он плавал! Бассейнов тогда не было, так они с приятелем с мая по сентябрь в Москве-реке купались... Грина он очень любил, и, конечно, с каждым годом новое в нем вычитывал. Стал морем всерьез интересоваться, занимался в морском кружке, модели делал. Хотел стать штурманом дальнего плавания, а больше никем и ничем.

Модели во время войны погибли, а Мишины рисунки и чертежи передо мной. Сколько ему было лет, когда он это чертил? Лет двенадцать? Парусный корабль со всеми подробностями. А внизу, аккуратно выведено: «Трехмачтовое судно, корабль (ship), фрегат». А вот еще: «Судно типа баркентина». Никогда и слова такого не слышал. Бригантину слышал, и то потому лишь, что в песне поется: «Бригантина поднимает паруса». А интересно, любил ли Миша про пиратов читать?

— Читал, конечно, но не очень увлекался. Он к морскому делу как-то не по годам серьезно относился. Помню, в седьмом классе сочинение писали; кем я хочу быть. Учительница мне говорила, что она поразилась его уверенности, серьезности намерений. А я, дура, радовалась...

Летом 40-го Миша кончил семь классов и объявил родителям, что в школе дальше учиться не будет, а поступит в морское училище. Все было: строгие выговоры отца, слезы матери. Но характер у него был колесниковский: сосредоточенный, упрямый. Его старшего брата уговаривали не идти с изыскательской партией в сентябре; зима в Сибири ранняя. Но он сказал: надо. И пошел.

Да и попробуй поспорить с сыном, который мать шутя поднимает и может тащить на руках хоть километр! Говорит: если не отпустите, сам уеду. И уедет.

Владивосток, Одесса, Мурманск? Порешили на Ленинграде: недалеко все-таки, и жить будет у близких людей. Ганецкие охотно согласились.

Упрям-то упрям, да мальчугану всего пятнадцать. И отца с матерью жалко, и по собачке рыжей тоскует... Читаю Мишины письма от осени 40-го года. По-мальчишески неуклюже пытается утешить родителей, примирить их с разлукой, с его морским будущим. А корабли стали ближе, он видит их у причала порта...

18 октября 1940 года

Дорогой папа! Получил твое письмо и был очень рад, что ты мне написал. Хорошо, что ты уже совсем почти поправился. Живу по-прежнему. Учусь тоже хорошо и даже получил стипендию 70 руб. ...Напрасно у тебя плохое представление о «Веге»¹. Во-первых, это не та «Вега», на которой Норденшельд прошел Северным морским путем. Этой «Веге» меньше лет — всего около тридцати. Но для хорошего парусника это самый бодрый возраст. Интересна история приобретения этого судна нашим техникумом, хотя сейчас оно принадлежит не только нашему техникуму.

У нас в техникуме вообще замечательные преподаватели. Преподаватель литературы такой, что не всегда встретишь в университете (а он преподает в университете литературу). Это уже пожилой седеющий человек, который как-то поразительно знает русскую литературу. Он знает греческий и латинский языки и вообще окончил еще до революции университет по словесности, или, как там, я точно не знаю. Но он прекрасный преподаватель. На уроках наизусть читает ломоносовские оды. Особенно любит Пушкина. Это у него просто вроде психоза. В каждой литературной теме он всегда находит место Пушкину. Преподаватели английского языка и навигации — бывшие капитаны, а теперь уже старики. Обоим за пятьдесят лет. Преподаватель морской практики тоже бывший капитан. Во время революции году в восемнадцатом он узнал, что продается парусник на

¹ Учебное судно техникума.

дрова. Он направился посмотреть парусник. Ковырнул ножом шпангоут и увидел, что это судно из крепкого хорошего дерева. Такелаж был в полной исправности. Рангоут тоже. И он купил «Вегу» за 180 рублей (разумеется, по тому денежному курсу). Впоследствии он подарил «Вегу» Ленинградскому морскому техникуму. Судно это принадлежит к одному из лучших типов судов. Иначе «Вега» называется «шхуна барк». Такое название исключительно от парусного вооружения. Я тебе коротко изложу основы классификации парусных судов...

Вот так, папа. Сейчас сын прочтет тебе небольшую лекцию. И будьте уверены, прочтет весьма дельно. Впрочем, к сожалению:

Р. С. Вчера вечером получил книги бандеролью. Мама прислала и «Морской словарь», так что теперь ты ничего не поймешь из того, что я написал про «Вегу».

Смотрю этот словарь, который вернулся в Москву после Мишиной гибели: Лукашевич С. П. Краткий морской словарь. Военмориздат, 1939. На обороте титульного листа напечатано: «В данное время, когда вся наша страна строит мощный морской и океанский флот, интерес к морю, кораблям и плаваниям неизмеримо вырос у массового читателя».

Эта немного казенная фраза несет в себе дух тех лет, тревожных, трагических, романтических. Челюскинская эпопея. Перелеты Чкалова и Громова... Нам нет преград на море и на суше... Мальчишки мечтали стать полярниками и летчиками. И, конечно, моряками. «В данное время, когда...»

Страна построила мощный флот, и тысячи юношей пошли в него. Пошел бы и Миша Колесников и, я уверен, был бы и штурманом и капитаном...

Между тем Миша усердно учится. Пока он на суше,

но жизнь уже по-морски и по-мужски суровая. Все преподаватели мужчины, иные — морские волки, «старика» за пятьдесят лет».

8 ноября 1940 года

Милый папа! Я тебе давно не писал, потому что не было времени. Я ведь очень занят. Подробнее об этом прочитаешь в письме к маме. Нас готовят почти по программе вуза. В Ленинградском институте инженеров водного транспорта (ЛИИВТе) есть судоводительский факультет. Он готовит и выпускает сразу капитанов, но их очень неохотно берут на суда. Специальные предметы они проходят по программе такой же, как и мы, если не меньше, а общеобразовательные несколько шире, чем мы, что для специальности не особенно важно. Высшую математику проходят по той же почти программе, что и мы. Но главное различие в преподавании морской практики как таковой. Мы меньше сидим на скамейке, чем они (срок обучения и там и тут 4 года), но гораздо больше плаваем. Мы знаем и теорию и практику так же, как они (но практику лучше несравненно). Тебе покажется странно, но учти, как мы должны заниматься, чтобы пройти эту гигантскую программу. По окончании техникума и отплававши два года (правительственный срок), студенты нашего техникума пользуются правом поступления в ЛИИВТ без испытаний. Я туда тогда поступлю и окончу, только значительно раньше, так как буду на заочном отделении и буду все морские спецдисциплины уже знать к тому времени в совершенстве. Посылаю тебе рисунки судна, очень похожего на «Вегу». Нашла ли тебе мама фотографию «Веги» в моем столике?..

Изрядная жизненная программа для пятнадцатилетнего.

Может быть, достоинства выпускников ЛИИВТа слегка приуменьшены, а выпускников Мишиного техникума преувеличены. Об этом трудно судить. Да и надо ли? Не в том вовсе дело. Читаю дальше, про маму.

...Если ей скучно, то сходи с ней в театр.

И не раз, а так, как я хожу: в месяц три раза. Сходите в концерт. Мама это очень любит, да тебе все некогда. Уж ты найди время, а то маме будет совсем скучно. А то, если у тебя времени нет, то пусть она одна сходит, это лучше, чем дома-то сидеть. Не позволяй ей сидеть дома и заниматься без конца или читать. Пусть съездит в Сокольники или хоть выйдет на бульвар и там посидит на свежем воздухе. А то и вместе с собачкой может погулять по бульвару. Это будет обоим приятно и полезно. Да и тебе не мешает воздухом дышать, а то ты, наверное, как крот сидишь по ночам и занимаешься. Напиши, как твои пироксилиты¹ и другие работы. Не простуживайся. Ходи с поднятым воротником, хотя ты этого и не любишь, а то продует...

Ах, сыновья! Заменит ли матери сына концерт, бульвар и даже собачка? Но так было и будет: сыновья уходят, а матери ждут. Счастливы матери и отцы, которые получают от сына такие письма.

Занятия, уроки, театр три раза в месяц. Миша все больше любит этот строгий мужественный город. Был, конечно, в Эрмитаже. Хотелось бы еще, но пока не позволяет себе.

Встает в семь часов (еще совсем темно), завтракает и трамваем на Васильевский остров. Там техникум. Домой приезжает не раньше пяти, а то и в шесть. Поел — и за уроки до одиннадцати, двенадцати. Так

¹ Мишин отец разрабатывал новые виды стройматериалов.

шесть дней в неделю. Зато в воскресенье, успокаивает Миша родителей, он совсем отдыхает. Иногда только черчение делать приходится.

Наконец зимние каникулы, и он едет домой. Дорогу от метро до дома бежит бегом. В груди что-то сладко и тревожно замирает. Вот знакомая до последней царапины дверь, за дверью визжит узнавшая его собачонка Рыжка... Мама... Отец, как всегда сдержанный, суровый, в знакомых с ползункового возраста старомодных бурках: не терпит, когда мерзнут ноги.

Его столик, рисунки и тетради. Все это уже кажется детством. Теперь он взрослый. Но почему-то удивительно приятно повозиться с большим плюшевым медведем, он как старый испытанный друг.

Друзья-приятели. Самый близкий друг Юра, с которым можно говорить абсолютно обо всем. Только, пожалуй, не о Гале. То есть о Гале вообще-то можно говорить и с ним, и с мамой, но не все. Что-то есть такое, что знают только они, Галя и он. А может быть, ничего и нет?

О том, как они встретятся с Галей, он много думал. А вышло все совсем не так, даже обидно как-то. «Ой, Мишка, — сказала она, когда он снял пальто у них в прихожей, — а я думала, ты в форме придешь!» Галина мать, Ирина Тимофеевна, засмеялась, а он смешался. Синий китель с форменными пуговицами мать заставила снять, чтобы вывести пятна, а взамен дала школьную курточку, из которой неуклюже торчали руки, вдруг оказавшиеся очень большими.

Галя показалась ему такой хорошенькой, что даже сердце защемило. Определенно, в Ленинграде таких девочек нет. Пошли в кино на «Музыкальную историю», потом к Мише, потом на каток.

— Мне Галя нравилась, — рассказывает Мария Сергеевна. — И все же я Мишу к ней ревновала. Сама себя стыдила, а сделать ничего не могла. Приехал на десять дней, а все с ней да с ней. На самом-то деле он

не так уж много времени с ней проводил, но мне так казалось. Помню, пошли мы с ним в последний вечер в театр. Миша в антракте говорит: «Мамочка, ты извини, я пойду по телефону позвоню». А кому позвонит, не сказал даже. Я сухо отвечаю: ну что же, если тебе очень нужно, то позвони. Он сразу почувствовал и говорит так укоризненно: «Мамочка, ну ты же знаешь, я к тебе совсем особенно отношусь...» Чуткий он был. А Галля ко мне потом часто заходила... После войны уже замуж вышла.

Когда вернулся в Ленинград, понял, что не все в жизни так просто и прямолинейно, как осенью казалось. Не одни корабли в мире есть. И отчего всякие мысли в голову лезут, к учебе и к морю никакого отношения не имеющие? Может, это потому, что стало весной смутно веять? Нет, пожалуй, дело не только в весне.

11 марта 1941 года

Дорогая мама! Я тебе давно не писал, ты, наверно, волнуешься. С тех пор, как мы после каникул вернулись в Ленинград, дни идут так быстро...

Учусь хорошо, как и прежде. Улучшений не наблюдается, да и не будет по-видимому... Когда я приехал после каникул сюда, меня одолела страшнейшая хандра. С трудом хватает воли заставить себя заниматься. Что будет на экзаменах — не знаю. Я думаю, что сдам, но как, это я не знаю. Одолевает это проклятое состояние. Мне хочется учиться, это я знаю, но заставить себя учить уроки — это скоро станет выше моих сил. Все свободное время я читаю. Я читаю даже больше, чем следовало бы. Но хуже, что я читаю и в несвободное время, вместо того чтобы учить уроки. Запустил черчение и теперь с трудом подгоняю. И вот тут трагедия: я

хочу учиться, знаю, что учиться необходимо, люблю большинство предметов и особенно специальные, знаю, что все это «мое родное», морское и нужное для современного моряка, и в то же время учиться не могу: наука не лезет в голову. Дошел до абсурда в своих рассуждениях. Одно время совсем бросил думать, но почувствовал, что так не могу. Тогда начал искать, искать... Чего? Себя. Да, себя я потерял. Потерял себя. Я год тому назад думал, что я совершенство, что я постиг все, и жизнь, и людей... Но оказывается, не так. Я много знаю... Но вот я не знаю, для чего я живу. Я же человек! Я должен жить с пользой для других людей! У меня должна быть цель жизни. Не море. Море — это самая благородная профессия на земле. Но это специальность, профессия, не больше...

Эти искания смысла жизни на шестнадцатом году от роду... «Я же человек!» Человек мыслит, не может не мыслить, и смысл жизни ему суждено искать до конца дней. Но мальчик этого еще не знает. И он говорит дальше слова, достойные мужчины. Что ж, высшая цель жизни, высший смысл пока скрыты для меня. Но более прямую, более близкую цель я хорошо знаю. Поэтому я соберу волю, заставлю себя жить, учиться, работать. Составляется «краткосрочная программа»: гнать хандру, воспитывать волю, не позволять себя распускать. Дисциплина и целеустремленность. Надо хорошо закончить учебный год. Летом, на каникулах, он всерьез займется языками. Но...

...Я думаю, что так сумею жить, но что дальше? Дальше я еще не надумал. Цель моей жизни, самое главное в жизни человека, еще не ясна. Море, конечно, море. Море — это профессия, и прежде всего нужно быть хорошим профессионалом, специалистом...

Но так все же нельзя. Ведь в это время миллионы людей, работая всю жизнь, умирают. Но хуже. Умирают, даже не дожив до седины. Умирают на фабриках, заводах, на фронтах в Европе и Африке. А другие — но меньше таких — сидят в шезлонгах. Это же несправедливо. Это надо было понять мне давно. Но это задело меня только сейчас. Я это понял, и мое место не в шезлонге. Но я еще очень молод. Мне надо учиться и приобретать знания. А войны кончатся. Может быть, и не доживу я до последней страшной битвы, но, может быть, она уже совсем рядом, и с последней войной исчезнет несправедливость. Народы всех стран будут строить коммунизм. Я всегда буду в первых рядах их. Вот я весь. Весь перед тобой. Может быть, я не совсем так сказал, как хотел, но я сказал искренне.

P. S. Не показывай это письмо никому. Разве что только папе. Но никому больше — оно для тебя.

Перечитываю это сумбурное, трогательное, пророческое письмо... «Читаю с тайною тоскою и начитаться не могу». Наивно? Да, но и прекрасно. Завязь жизни наивна в своей откровенности. Незрело? Конечно. Но избавь нас бог от ранней зрелости, если она несет успокоенность, равнодушие, эгоизм. Пусть живет в мире такая незрелость, это весеннее смятение чувств и мыслей...

Он и не подозревал, как близка была та страшная битва, которую ему не суждено было пережить.

Экзамены он, несмотря на хандру, сдал успешно. Может быть, к лету и хандра прошла.

Шли памятные людям нашего поколения последние предвоенные дни.

Рига, 22 июня 1941 года

Дорогая мама! Все благополучно. Твое письмо получил уже давно, а вчера или по-

завчера — другое. В плавание мы, наверное, не пойдем никуда. Главное, что я тебя прошу, — это не волноваться за меня. Поцелуй от меня горячо любимого папу. Не волнуйтесь и не беспокойтесь за меня. Здесь пока все спокойно.

Р. С. Ты видишь, как я пишу. У меня на работе загрубели руки, и я совсем разучился писать.

Очень он постскриптумы любил. В иных письмах по два, а то и по три.

Вечные, никчемные, но неизбежные слова: не беспокойся, мама. Мамы созданы, чтобы беспокоиться за сыновей. Особенно когда сыновья под бомбами. Рига пала 1 июля.

Февраль 1947 года... Рассказывает Борис, медлительный широколицый парень, Мишин друг по техникуму. Он недавно вернулся из армии, начал работать механиком в гараже. Его мать, еще нестарая женщина, тоже пережившая блокаду в Ленинграде, потерявшая мужа и дочь, сидит рядом за столом, подперев голову ладонью, и горестно кивает его тяжелому, с паузами и каким-то мычаньем, рассказу. Кажется, у него контузия.

— По дороге в Ленинград здорово нам досталось. Бомбили фрицы несколько раз. Не все и добрались... Сначала поездом ехали, а потом встал поезд: полотно разрушено. Они тогда, где хотели, летали. Пешком пошли. Друг друга растеряли. Кто на попутных машинах, кто как... Я Мишу где-то около Пскова потерял. Все-таки добрались, он даже на день раньше меня. Отощали только...

— Я, как Борьку увидела, так в рев. Реву и остановиться не могу, — прерывает Бориса мать.

— Мам, ну мам...

— Да ладно уж. Все вот пережили. А Миша уж такой мальчик был. Всегда я его Борьке в пример ста-

Pt Ir Os Ru



вила. Он у нас часто бывал. Там, на Литейном, к нему хорошо относились, ничего не скажу, а все не у родной матери. И мать его я один раз видела... Значит, жива она? О господи, горя-то сколько... Погиб Миша...

Она всхлипнула. Женщины, пережившие блокаду, часто плачут. Наверно, и не отучиться им.

Борис рассказывает дальше:

— Ну а в августе всех, кто хотел, отпустили из техникума. Сказали: можете с родителями эвакуироваться или на работу идти, призыва дожидаться. Это первый курс, конечно. Миша в пароходство на работу поступил матросом. Знаю, в Таллин они ходили, в Кронштадт. Опасно было, но он не боялся. Он вообще-то мало чего боялся. И здоровый был как черт. Я тоже не слабак, но до него мне далеко было... За родителей он сильно беспокоился, но ехать к ним не хотел. Я, говорит, здесь пригожусь. Пригодился...

— А в военный флот не мог он пойти?

— Не брали. Он пытался, но сказали: подожди годик... А в общем-то я его редко осенью видел. Знаю только, что горел он на своей посудине и едва выплыл. Тогда много гражданских судов погибло. Оставили его в береговом резерве. А вот почему уволили потом, не знаю. Может, он мне и не говорил. Не помню. Последний раз я его где-то в начале декабря встретил. Совсем случайно, помню, на Невском. А тут обстрел начался. Не поговорили.

Мишино письмо, написанное карандашом, теперь наполовину стерлось. Его надо было расшифровывать, как древние письмена. Мать получила письмо в эвакуации, в Омске, в начале 1943 года. Оно было в пути более года, дошло, как говорится, подобно свету потухшей звезды. Лучшее сравнения не подобрать.

14 декабря 1941 года

Дорогая мама! Делаю последнее усилие связаться с тобой. Мои письма к тебе, по-видимому, не доходят до тебя и от тебя я

ничего не получаю. С работы уволили, в техникуме отчислен, так как работал. Живу на карточки III категории, иждивенческие. Пока жив и здоров, что будет дальше — не знаю. Полон мыслью о доме, о тебе и о папе. Делаю все усилия, чтобы уехать из Ленинграда. Это сейчас очень трудно. Подробности все — когда приеду домой. В двух словах — ты снова найдешь сына, но уже не прежнего, а такого, который почувствовал жизнь, который пробовал жить самостоятельно, но слишком рано. Это пошло ему на пользу, и тебе, и папе. Возможно, увидимся еще до окончания войны.

Это письмо пришло, когда мать уже знала, что Миша пропал без вести. Она не взглянула на дату, и безумная радость потрясла ее до обморока. Страшная, обманная радость...

Не надо объяснять, что такое были иждивенческие карточки в Ленинграде в декабре 41-го. Немного отсрочить смерть. С иными иждивенцами делились работающие родственники, у кого-то были жалкие, но запасы. У Миши не было ничего. Ни карточек, ни запасов, ни денег, хоть они тогда мало что значили.

Деньги ему посылали родители из Омска. Вернее посылали Ганецким для него. И здесь я сталкиваюсь с вещами, о которых трудно писать. Почему-то в январе 1947 года, когда я был у Ядвиги Петровны, я этого не знал. То ли Мишина мать не понимала смысла документов, то ли не хотела со мной делиться подозрениями. Эти затертые клочки бумаги военных лет я рассматриваю лишь теперь.

15 сентября Ганецкие пишут в Омск матери Миши:

Деньги, которые вы Мише послали, мы пока ему не передали и о них ничего не сказали ему, так как у него пока деньги

есть, пусть приучается жить на то жалование, которое получает. А то он живо истратит вами присланные деньги. Они пригодятся ему, когда он не будет служить, а поступит в техникум.

Едва ли это было подходящее время для воспитания в парне бережливости.

14 декабря, как мы видели, Миша пишет матери, что ничего от нее не получает. Из письма явствует, что не получает давно: «...делаю последнее усилие связаться с тобой...» Но вот официальная справка Омского почтамта по данным из Ленинграда: 8 ноября, 29 ноября и 20 декабря 1941 года Ганецким были вручены переводы из Омска на общую сумму 700 рублей. Деньги, может быть, по тем временам небольшие, но все же... Да и не в деньгах дело, а в известии из дома.

Как это объяснить?

Скажу прямо. Выходит, что Ганецкие получали деньги для Миши и не отдавали ему. Более того, не говорили, что от его родителей есть какие-то известия.

По крайней мере, другого объяснения я предложить не могу.

Что происходило в ноябре и декабре 41-го года в квартире на Литейном? Что сделали голод и холод с психикой двух стариков?

Штамп: военный прокурор Куйбышевского
района г. Ленинграда
9 апреля 1943 г.

На Ваше заявление от 12/III-43 г. сообщая, что Ваш сын Колесников Михаил Михайлович в начале 1942 года заболел и в тяжелом состоянии был направлен в больницу. В какую именно больницу он был направлен, установить не удалось. После этого в дом он не возвращался. Ганецкий Роберт Робертович умер. Его жена Ганецкая Ядвига Петровна в данное время больна и находится на излечении в больнице.

Патетическая простота документа... Подпись военного прокурора...

Были еще запросы и ответы. Все сводилось к одному: ушел в больницу и не вернулся. В одном документе прямо сказано: «там умер». Но в какой больнице — неизвестно. В разных ответах называются разные даты: 1 января, 7 января. Были сильные морозы. В больницу он был направлен, а не доставлен. Он мог и не дойти до больницы...

Когда я прихожу на Пискаревское кладбище, я снимаю шапку и перед его безымянным прахом.

В этой истории пока ничего не выдуманно, только заменены имена и фамилии. Приводятся подлинные письма и документы, теперь уже, к сожалению, недоступные: Мария Сергеевна умерла, и бумаги пропали.

Что же дальше?

Миша Колесников прожил 16 лет и 5 месяцев.

Много это или мало?

«Для нынешних юношей и девушек характерен инфантилизм, — говорят и пишут одни. — Они знают много, а душой еще малые дети».

Я гляжу на шестнадцатилетних и вроде бы соглашаюсь.

«Происходит акселерация. Не только физическая, но и духовная», — говорят и пишут другие.

И я опять соглашаюсь: послушайте только, о чем и как они говорят.

Может быть, каким-то странным образом верно и то и другое?

По шестнадцать лет было молодогвардейцам. Если бы Миша оказался там, он был бы среди них и вел бы себя достойно. В это я, безусловно, верю. Ему не повезло. Он умер не героически. Но война не позволила всем умереть героически. Победа стоила слишком много жизней.

16 лет — мало. Столько изменится в человеке. Появятся черты, которых еще вовсе нет, исчезнут нынешние.

16 лет — много. Главная суть будущего взрослого человека сложилась, дальше будут развиваться уже имеющиеся свойства, черты, склонности.

Опять верно и то и другое. Диалектика.

Но я возьму второе.

Мне кажется, по всему тому, что мы знаем, можно себе представить, каким человеком был бы взрослый Миша Колесников.

Я попробую прочертить траекторию его жизни. Покажите математику достаточно выраженный отрезок кривой, и он изобразит вам ее форму.

Надо попытаться сделать то же самое с человеческой жизнью, с характером человека. По отрезку длиной в 16 лет изобразить жизнь.

В пятьдесят лет просыпаешься иначе, чем в двадцать. В молодости так: первые мысли, которые появляются в пробуждающемся мозгу, приятные. Вспоминаешь, что тебя ждет свиданье, развлечение, да просто хороший, чем-то наполненный день. Неприятности, дела скучные и рутинные, если и вспоминаются, то не сразу. Теперь — другое дело. Первое, что лезет в голову, — огорчения от детей, предстоящий трудный разговор с начальством, долго откладываемый визит к врачу.

Но сегодня я просыпаюсь с чем-то праздничным и не сразу могу сообразить, в чем дело. Потом всплывает в памяти: вечером зайдет Михаил Колесников, накануне звонил из Ленинграда, что выезжает: вызвали в министерство.

...Опять все то же. Обнимает так, что кости трещат. Но целует полными мягкими губами, женщины, наверное, любят такие поцелуи: щедрые. Сует ребятам подарки: младшему какой-то огромный конструктор, старше-

му — зарубежные штаны. Массивный, веселый, излучающий уверенность и добродушие. В комнате сразу становится тесно и интересно. Из глубин карманов появляются еще раковины, мелкие иностранные монеты, поясная пряжка с двуглавым орлом.

Люди всегда чувствуют к нему необыкновенное доверие, особенно дети и женщины. Моя жена говорит: первоклассный бы из тебя, Михаил, исповедник получился.

Аккуратной стрижкой под бобрик и седеющими висками похож на отставного полковника. Морщин еще прибавилось. Морские ветры не балуют шкуру человеческую, да и не только ветры ее дубят. Складки на щеках придают его лицу суровость, жесткость даже. «Тебе, Михаил, почаще улыбаться надо. Марк Твен говорил: морщины должны быть только следами прошлых улыбок». — «Стараюсь». Но сам при этом почему-то не улыбается: уже переключился на серьезное.

— Ну, с чем приехал?

Этот вопрос не сразу, конечно. Сначала — про мать, про Галю, про детей. Выясняется: уже и младший начал бриться. В прошлом году он прожил у нас неделю на каникулах после девятого класса. Михаил Колесников третий. Забавно было узнавать в нем черты деда, которого я когда-то видел каждый день в течение нескольких лет.

— В министерстве-то был?

— Да был...

— И что?

Михаил медленно тянется вилкой за ломтем огурца, отправляет его в рот и с хрустом грызет. Зубы такие, что позавидуешь. Когда заходит серьезный разговор, он всегда так: медлителен, скуп на слова.

— Зовут, понимаешь, обратно в науку.

— Капитаном?

— Да.

— А судно какое?

— Новое. Из курчатовской серии, но с большими новинками. «Климент Тимирязев». На Ленинград базироваться будет. Говорят, везде согласовали.

Вот так. Кончается, значит, опала. Капитан Михаил Колесников опять там, где ему и надлежит быть.

В научный флот Колесников, тогда бравый, тридцатилетний, с военной выправкой, пришел уже выдавшим виды моряком. За спиной война и несколько лет плавания на лесовозах. Дорогу из Ленинграда и Архангельска до Лондона знал как свою улицу.

Много раз я слышал, как уважительно люди говорили: «Михал Михалыч. Капитан Колесников». Некоторым в характеристиках пишут с полным основанием: пользуется авторитетом в коллективе.

О том, как случилась опала, он рассказал протоколно и не любил вспоминать. Но говорили об этом случае много. Я слышал от старых капитанов с внешностью профессоров и от способных кандидатов наук, похожих на матросов. Как всегда бывает, подлинное происшествие постепенно обрастало сомнительными подробностями и явными выдумками, превращаясь в легенду.

Судно, которым командовал капитан Колесников, зашло в порт Монтевидео, Уругвай. До этого — два месяца плавания в экваториальной и южной Атлантике. Земли даже не видели. Корабли Колумба меньше времени провели в открытом океане. Станции (так называются остановки судна для проведения исследований) в любое время суток. Краем шторм захватил, потрепал. Изнуряющий зной, тяжелая работа без выходных и праздников, а часто и без смен. Таков закон моря. Потом дадут отгулы, можно будет хоть три месяца ловить рыбу или лежать на пляже в Сочи, так что надоест и снова захочется в море. Но сейчас от этого не легче. Люди устали, соскучились по твердой земле, по незнакомым человеческим лицам.

Завершены портовые формальности. Капитан надел свежий китель и вместе с начальником экспедиции нанес визит вежливости местным властям. Настало время отпустить людей на берег. Все как положено. Помполит, комиссар судна (в безобидном просторечии «помпа») провел беседу с отпускниками. Боцман проверил обмундирование у членов команды, ученые надели белые штаны, в каких Остап Бендер мечтал гулять по Рио-де-Жанейро. И веселой гурьбой все двинули на берег, как члены профсоюза на оплаченную месткомом экскурсию.

Капитан поужинал и ушел к себе. Каждый день он заставлял себя полчаса заниматься испанским языком (он к тому времени очень недурно говорил по-английски и по-французски). Теперь у него появилось свободное время, он сидел за столом в майке и спрягал трудный глагол. Кое-кто уже вернулся из увольнения, многие отсыпались за бессонные ночи. Прибежал с берега молодой матрос, первый раз в океанском плаванье. Вахтенному помощнику ничего не сказал, прямо к капитану. «Михал Михалыч, беда, драка! К Семенову какая-то шпана местная привязалась, наши вступились». — «Где?» — «Близко совсем от порта, в пивной какой-то». — «Зачем в такое место пошли?» — «Так ведь жарко, пить захотелось. И снаружи вроде все прилично было». — «Полиция есть?» — «Не видать».

У Михаила в голове мчатся мысли. Заберут в полицию, избить могут и дело пришьют. Суд, скандал, пресса... Посоветоваться? Не с кем и некогда. Помполит спать лег, не очень здоров он. Надо идти самому. Натянул китель, и пошли.

Оказалось действительно совсем близко, но дыхания едва хватило: все же сорок пять лет да жара градусов тридцать. Надо сказать, что Михал Михалыч весит около центнера и имеет соответствующий рост, а в прошлом занимался боксом и самбо, кажется, имел даже неплохой разряд. Как говорится, его появление внесло растерянность в ряды противника. Он и развернуться

по-настоящему не успел, как шпана обратилась в бегство. Был, правда, опасный момент, когда около самого уха просвистела бутылка и рассадилла большое оконное стекло. Но обошлось.

В этот самый момент послышалась полицейская сирена. По узкой улочке машина едва пробиравалась, и у наших было еще несколько секунд. «Быстро на судно!» — скомандовал капитан. «Мы с вами, Михал Михалыч», — кто-то сказал. «Не рассуждать!» — гаркнул вдруг капитан, багровея лицом. Наших матросов из кабака как ветром вымело. А капитан Колесников добровольно сдался властям и получил возможность немедленно использовать свои познания в испанском языке. Он категорически заявил, что дрался один, что его команды и духом здесь не было.

Капитан в некотором роде личность неприкосновенная, вроде дипломата. Его нельзя арестовать, можно лишь приказать покинуть порт. На другой день капитан вернулся на судно. Заплатили хозяину заведения за убытки и к вечеру ушли.

Такова, насколько я понимаю, реальная картина событий, очищенная от легенд.

Капитан, помполит и начальник экспедиции, как положено, доложили по радио в Москву, получили разрешение зайти в другой порт. Экспедиция продолжалась.

К сожалению, дело этим не кончилось. Инциденты в портах — ЧП для нашего флота. Они разбираются тщательно и строго. Наверно, так и должно быть.

Колесников писал объяснения. Помполит всюду говорил, что в данной конкретной обстановке действия капитана были оправданны. Команда стояла за него горой. Но где-то все же решили, что надо наказать. Вспомнили заодно какой-то мелкий проступок три года назад. Перевели капитаном на судно каботажного плавания, и заплывал Михаил из Ленинграда в Таллин, Ригу и Калининград.

Читаю отчет о рейсе «Климента Тимирязева» — втором рейсе Колесникова после возвращения «в науку».

Отчет о работах, проведенных научно-исследовательским судном (НИС), — это капитальный научный труд, нередко в нескольких томах. Он составляется множеством людей самых разных профессий. Современное НИС — солидный институт со штатом сотрудников более сотни человек, со сложнейшим оборудованием самого разного профиля, включая судовую ЭВМ.

Одну большую составную часть отчета подписывает начальник экспедиции, другую — капитан. От того, как они сработаются, во многом зависит успех рейса. А каждый рейс стоит несколько миллионов рублей.

Отчет — документ научный, деловой, служебный. Что угодно, но только не легкое чтение.

И все же чтение это захватывает. Океан есть океан. В конце XX века он по-прежнему таит для человека неожиданности и опасности, он романтичен, как во времена первых кругосветных путешествий и флибустьеров.

Из отчета начальника 2-го рейса НИС «Климент Тимирязев»:

Согласно плану-программе задач экспедиции являлось комплексное геолого-геохимическое изучение северо-западной области Тихого океана. Выбор маршрута, состав научных отрядов, а также оборудования и приборов для проведения заборных работ определялись специфическим характером рейса. В северо-западной и центральной частях Тихого океана широко распространены донные железомарганцевые образования типа конкреций и корок на выходах коренных пород. Изучение этих образований может иметь важное научное и народнохозяйственное значение. Этой задаче были в большой мере подчинены геохимические исследования в ходе экспедиции...

Железомарганцевые конкреции — любопытное явление природы. Происхождение их до сих пор остается не очень ясным. На вид эти конкреции мало отличаются от обычных камней рыже-бурого или серого цвета. Иные почти правильной шаровидной или эллипсоидальной формы, другие похожи на лепешки, третьи вовсе бесформенны. Есть катыши величиной с грецкий орех, есть с яблоко, а попадаются величиной с арбуз. Каждый катыш имеет ядро, которое обрастает оболочкой из рудного вещества. Чем-то это напоминает образование жемчужин. Ядрами становятся обломки твердой породы, куски пемзы, остатки живых микроорганизмов — слуховые кости китов, зубы акул.

Запасы железомарганцевых конкреций на дне океанов огромны, но скрываются они чаще всего на больших глубинах. Промышленное освоение этих запасов представляет большие трудности. Это дело будущего, возможно, не слишком близкого. Но развитие науки и техники может его приблизить.

Почему конкреции называются железомарганцевыми? Эти два элемента, вместе с бесполезным кремнием и вездесущим кислородом, составляют по весу значительную их часть. Содержание железа колеблется в пределах 10—20 процентов, марганца и того больше — до 30—35 процентов. В конкрециях встречаются также кобальт, никель, ванадий, попадают в малых дозах ниобий, цирконий, молибден и множество других элементов — чуть не половина таблицы Менделеева.

Из отчета капитана М. М. Колесникова:

...7 июля в 9.40 легли в дрейф на станцию № 936. Сев. широта 21°20'7". Глубина 4700. Работы по программе левого и правого борта. Тралированием получены значительные количества конкреций. В связи с наличием интересного материала геохимического характера продолжали работы. 8 июля в 02.50 были вынуждены прекратить спуск трала при погруз-

жении порядка 2500 метров и вырубить около 40 метров дефектного троса. Мужество и находчивость проявил матрос палубной команды Сергеев А. К., ему объявлена благодарность в приказе.

После изготовления нового сплесня в 07.40 продолжали спуск трала. Тем временем ветер постепенно усиливался и достиг 4—5 баллов, пошла крупная зыбь, пришлось включить успокоители качки. Активно проводили подработку против волн и ветра с помощью главных двигателей и носовых подруливающих устройств.

8 июля в 17.30 приняли синоптическую карту. В 200—250 милях к югу направлением СЗ—ССЗ движется тропический циклон «Беттина». Скорость ветра в центре циклона около 50 узлов. В 18.25 поднят трал, в 20.00 начальнику экспедиции доложили предварительные данные о необычайно высоком содержании редких металлов в конкрециях.

22.40 принято сообщение об изменении направления движения «Беттины» на 15—20° к северу.

На внеочередной планерке принято решение продолжить станцию, несмотря на упомянутое изменение направления циклона. Соображения в пользу такого решения: чрезвычайная необходимость сохранения возможно точной отметки станции в условиях временной невозможности координации по РНС «Лоран-А» и по астрономическим наблюдениям.

9 июля в 03.00 сила ветра достигала 8 баллов, несмотря на это, успешно продолжался спуск донного трала левого борта...

Капитанам положено быть точными и немногословными. Отчет — документ, как будто начисто лишенный эмоций. Но за этими строчками — рев урагана и тяжкое бремя решений.

«Тимириязев» вернулся в Ленинград в положенное время — в конце сентября.

В октябре я был в Кисловодске. Допивая в галерее свой стакан нарзана и о чем-то задумавшись, я увидел знакомое лицо. Николай Иванович Крылов, добрый знакомый Колесникова, а через него и мой, океанолог, участник многих экспедиций. Чокнулись для начала нарзаном и пошли в парк.

Еще в сентябре Михаил звонил из Ленинграда. Сказал: все благополучно, хоть было кое-что необычное. Дальше распространяться не стал. Намек этот я почти забыл и вдруг вспомнил теперь, встретив Николая Ивановича.

— Что было-то? — переспросил он. — Да, было действительно. Такое я впервые видел, хоть в двенадцатый свой рейс ходил... А вы ничего разве не знаете? — Он как-то даже подозрительно посмотрел на меня.

Я передал ему туманные слова Колесникова и сказал, что больше, ей-богу, ничего не знаю.

— Молодец Михал Михалыч, одно слово, молодец. Такое дело на себя взял... Ни один капитан бы не решился... При девяти баллах тралы таскать и судно на станции держать с точностью до секунд...

Мне нелегко это представить, но в глазах моих стоит красавец «Тимириязев», каким я видел его в Ленинграде, незадолго до ухода в первый, пробный рейс до Владивостока. Я прошу Николая Ивановича рассказать. Он начинает как будто неохотно, потом увлекается...

— Ну, вышли... До первых станций ничего интересного, как обычно. Одно приятно: капитан с начальником экспедиции — душа в душу. Помполиту прямо делать нечего. Я помню рейс, так помполит только и делал, что

начальника с капитаном мирил. А эти, глядишь, сидят в шахматы играют, если только конкреции не обсуждают.

Кстати сказать, конкреции впервые главной целью экспедиции были, до этого ими только попутно занимались. А тут просто праздник для геохимиков. Задача была детально изучить распределение и состав конкреций. Техника самая современная: через час из лаборатории первый экспресс-анализ тащат.

Начались станции. Драга за драгой, трал за тралом. Похоже, как рыбаки невод тянут: может, придет пустой или с одной травой морской (трава, впрочем, тоже некоторых очень интересует), а может быть, с большим уловом. Когда трал поднимают и улов на поддон вываливают, любопытно на народ поглядеть. Глаза горят, руки тянутся, друг друга отталкивают и не замечают даже.

(Спуск и подъем трала, такого большого мешка из многослойного капрона, — дело на больших глубинах не простое и не скорое. Особенно тяжело это дается при волне и ветре. Здесь очень много зависит от того, кто командует судном: требуется удерживать его в нужной позиции, чтобы драга не дергалась слишком резко, чтобы трос шел под нужным углом и бог знает что еще. Если учесть, что с обоих бортов спускается несколько тросов с разными подвесками, то задача получается как у жонглера, который удерживает в равновесии десяток предметов. К тому же тралы и другие донные приборы имеют гнусное обыкновение цепляться за что-нибудь и рвать трос. Это уже порядочная неприятность. Отчет о любом рейсе содержит похоронные строки: трос оборвался, трал потерян. Хорошо, если один.)

— Вот такой ажиотаж был вокруг этого памятного трала. Расхватали свою нечисть донную органики, остальное — на геохимический анализ. Остальное — это конкреции, на вид самые обыкновенные, даже хуже иных, которые раньше доставали. Мы как раз с Влади-

миром Сергеевичем сидели, программу на завтрашний день обсуждали. Вбегает Саша, лаборант-спектроскопист. Он вообще-то человек беспокойный, а тут прямо сам не свой. «Владимир Сергеевич, гляньте-ка!»

(Владимир Сергеевич Соколов — начальник экспедиции, я о нем много слышал, но не знаком.)

— В экспресс-анализе сообщают оценочное содержание главных компонентов и выделяют особо, если что-нибудь необычное замечено. Несколько строк было подчеркнуто красным. Владимир Сергеевич глянул и прямо на глазах стал от волнения розоветь. Взял перо, еще раз зачем-то подчеркнул те же строки и подвинул по столу листочек ко мне. Действительно, это был необыкновенный улов. Впервые в конкрециях найдены металлы платиновой группы, платина и иридий в существенных количествах. Существенных в смысле десятых долей процента. От экспресс-анализа особой точности ждать не приходится. «Будьте добры, Саша, покажите капитану», — сказал Владимир Сергеевич, забирая у меня листок. Саша опрометью выскочил из каюты, а через десять минут пришел капитан. По-моему, он был доволен не меньше нас. Но это можно было понять, только зная его пятнадцать лет.

(Уж это точно: он и на суше таков. Свои чувства показывать не любит. Когда одолевает тревога — подчеркнуто спокоен, когда впору бежать сломя голову — нетороплив как в замедленном фильме.)

— Мы рассчитывали, что в этом специальном рейсе найдем что-нибудь новое в конкрециях. Элементов как-никак мы знаем за сотню, и следы редких лантаноидов или актиноидов вполне могли обнаружиться. Но тут было гораздо большее и, может быть, перспективное. Конечно, надо было проверять, закреплять, уточнять. Через полчаса в воду пошел новый трал, но тут-то и начались неприятности, и уж их хватало.

Ночь темная, хоть глаз выколи. От судовых прожекторов свет какой-то фантастический. А волнение на

океане все усиливается. Прошло два часа, вытравили тысячи три метров. У лебедки стоял матрос, Сергеев Алеша. Крепыш такой, не то вятский, не то вологодский. И тут он, представьте себе, видит в качающемся таком, неверном свете, как несколько жил троса расползаются у него на глазах. Еще секунды, и это место уйдет в воду, там трос порвется, и прощай наш трал вместе с тремя километрами троса. И ведь не растерялся парень. Мгновенно остановил лебедку, но трос-то все равно тянет. Так он руками его схватил, правая по одну сторону разрыва, левая — по другую. Счастье, что он в рукавицах был. И кричит сдавленным от натуги голосом: «Ребята, стопор давайте!»

Тут, конечно, люди подбежали, трос захватили, ослабили. Когда Сергеев рукавицы снял, все ахнули: руки были совершенно синие. Ни одной царапины, а внутри кровотечения. Капитан подошел, за плечи обнял. Это у него, кажется, высший знак одобрения. Рассмотрели разрыв, еще трос потравили, а там опять подозрительное место. Пришлось вырубать и новый сплестень делать. Это, я вам скажу, ночка была. Сплетать многожильный сантиметровой трос вручную — в любых условиях не простое дело, а ночью, при изрядной качке — на первый взгляд просто невозможное. Вся ночь за этой работой прошла, утром только запустили лебедку.

Капитан всю ночь и весь следующий день на вахте простоял. Владимир Сергеевич к нему несколько раз подходил: «Михал Михалыч, отдохни, поспи!» Нет: отошел только закусить, полежал полчаса и опять в рубке. И не потому, что не доверяет. Старпом Жарков Иван Петрович с ним несколько раз плавал, каждую мелочь досконально знает, друг друга они с капитаном, как говорится, с полуслова понимают. А вот: во-первых, морская традиция, а во-вторых, характер. Если положение особое, на вахте должен быть капитан.

Дошел, наконец, трал до дна, протащили его как

следует, начали поднимать. Все прямо чуть богу не молятся, чтоб поднять его без происшествий. О том, какой улов был накануне, людям, конечно, известно. Что-то даст теперь царь морской? Что означали вчерашние находки: случайную шутку природы или новую важную закономерность? Все волнуются, а синоптик, кажется, больше всех. Уж и без синоптика видно, что непогода надвигается. А тросу на всех наплевать: мотается монотонно, бесконечно. Кажется, он так до окончания века мотаться будет. Капитан своей ювелирной работой занят: десять метров вперед, двадцать метров вправо. Так час за часом.

Наконец показался трал. Тут уже органики скромно держались: не их час. Владимир Сергеевич сам в лабораторию пошел. Сенсация! Содержание платиновых металлов больше, чем в самых богатых рудах. Несколько конкреций — почти что платиновые самородки. Осмий, иридий, рутений. В общем, если вы помните таблицу, вся восьмая группа, конечно, на железомарганцевой основе. Такие открытия в океане не часто случаются. Капитана позвали в лабораторию поглядеть на добычу.

Планерка — как военный совет в Филях. Дело опять к ночи, похоже, мало кому и эту ночь спать придется. Синоптик докладывает: если останемся на месте, есть шанс оказаться близко к центру циклона. По всем морским законам, надо, не медля ни минуты, уходить в сторону, пропустить ураган мимо. Если есть точные координаты, можно, конечно, уйти и вернуться снова...

— А почему не было координат? — спросил я.

— В том-то и дело! — почти закричал Николай Иванович. Он был теперь во власти своего рассказа, говорил громко и жестикулировал так, что редкие прохожие оглядывались на нас. — В том-то и дело! Надо же так случиться, что часа за два до планерки сломалась какая-то чертовщина у радистов. Они там возились как бешеные, но неизвестно было, когда исправят.

Поэтому по «Лорану» не могли определиться. А звезд на небе и в помине не было, черное небо как чернила. Вот и выходило: знаем свое положение с точностью до 5—7 минут, а это, может быть, добрых 15 километров.

— И потеряли бы место?

— Конечно! Черт их знает, эти платиновые. Может, они небольшой участок дна покрывают. Искать потом этот участок заново — как иголку в стогу сена. Если бы не циклон, ясно что делать: оставаться на месте, взять еще несколько проб, попытаться очертить границы месторождения. Дилемма на редкость неприятная. Прежде всего для капитана. Он хозяин на судне. Он отвечает за государственное имущество и за жизнь людей.

Начальник геологического отряда сам не свой: открытие в руках, а может уплыть. Останется как курьез, как память о прошедшей мимо фантастической удаче. Начальнику экспедиции тяжело; он и сам геохимик, может, это и его звездный час. Но, с другой стороны, как дать на капитана?

Колесников сидит в кресле, молчит, слушает. Помполит на него поглядывает, да и все его слова ждут. Старпом твердо на своем стоит: немедленно уходить. В сущности, он прав. Мы находимся примерно в тысяче миль к востоку от Филиппин, в классической зоне тайфунов. Нет никаких оснований, что «Беттина» окажется милосерднее своих предшественниц. Люди устали, раздражены. Ветер усиливается. Пожалуй, еще несколько часов, и будет поздно уходить.

Тут наконец капитан сказал. То мрачный сидел, как туча, складки на лице залегли бороздами. А сказал и вдруг улыбнулся, борозды исчезли. И всем легко стало. Отчасти, конечно, потому, что человек за всех решение принял. Но так сказать — людей обидеть. Внутренне все такого решения хотели. Может быть, и старпом даже. Во всяком случае, расходились все веселые, точно подарки получили.

Ночь была тяжелая, а день и того хуже. Работали

как черти. Но риск оправдался: «Беттина» чуть свернула еще на север и самое страшное не состоялось. А забортные работы своим ходом шли, несмотря ни на что. Один трал, правда, сорвало, но об этом уже не очень жалели. Ради такого дела можно было чем-то пожертвовать. Донного материала натаскали тонн двадцать. Утром радисты обрадовали: «Лоран» заработал, координаты с большой точностью есть. От трех-четырёх бессонных ночей люди с ног валились. Иной поспит часа два и опять к лебедке. Саше-лаборанту плохо стало, так его врач силой в постель уложил. На одном капитане ничего не заметно: всегда побрит, аккуратен. Но устал он страшно. Наутро после шторма сдал вахту Жаркову и к себе пошел. Я случайно его в этот момент подсмотрел. Он уже скинул напряжение, может, думал, никто его не видит. А я вдруг понял: он же очень молодой человек. И много переживший: война, блокада... Следующим утром встречаю его и думаю: нет, все это мне показалось, нет этому человеку износу...

Мы сидели на скамейке под деревьями. Смолисто пахли сосны, был совсем еще летний день. Странно было представить себе бурный океан в тысяче миль к востоку от Филиппин. Николай Иванович замолчал. Наверно, мы оба думали об одном. Я спросил:

— А что же платиновые металлы?

— Большое открытие. Теперь в Москве идут детальные исследования. Говорят, что надо еще одну экспедицию туда послать. А место это назвать полигоном Колесникова.

ОШИБКА СВЕТОНИЯ

Историки говорят: биография Гая Светония Транквилла, автора «Жизни двенадцати цезарей», которой зачитывались поколения и поколения, полна неясностей. Полагают, что он родился около 70 года нашей эры, в правление Веспасиана. Дата его смерти неизвестна. Большинство сочинений Светония до нас не дошло.

Он был уже заметным ученым и писателем, когда Адриан, ставший императором в 117 году, сделал его своим доверенным лицом, дал высокий пост при дворе. Но через пять лет Светоний был неожиданно уволен в отставку.

Все, что мы знаем об этом деле, заключено в следующих строках историка Элия Спартиана, жившего два столетия спустя и описавшего жизнь Адриана:

«Он сменил префекта претория Септиция Клара и государственного секретаря Светония Транквилла, а также многих других за то, что они тогда держали себя на половине его жены Сабины более свободно, чем это было совместимо с уважением к императорскому двору. И со своей женой, как он говорил, он развелся бы из-за ее угрюмости и сварливости, если бы был частным человеком».

Светоний оказался не у дел. Возможно, он прожил

после этого лет двадцать, а то и тридцать. Писал много и на разные темы. Может быть, опала была для него в конечном счете удачей?

Что же произошло около 122 года при дворе Адриана?

То, что следует ниже, представляет собой попытку «реконструкции» важнейшего эпизода жизни Светония. Это похоже на реконструкцию памятника архитектуры по его фундаменту или ископаемого животного по части скелета.

В свои пятьдесят лет Светоний начал сесть и лысеть, но и то и другое еще мало изменило его изящную голову. Когда речь зашла о годах, он сказал, что охотно предоставляет поле битвы обоим врагам: быть может, они будут сдерживать друг друга.

Гость, Марк Лициний Флакк, был товарищем детских игр Светония. Как и Светоний, он происходил из всаднического рода. После школы судьба развела их. Светоний отказался от обычной в их сословии военной карьеры и углубился в науки. Лициний отправился с легионами в Германию, а потом участвовал почти во всех походах императора Траяна. Лишь изредка встречались они, когда Лициний приезжал в Рим. Смерть Траяна остановила его восхождение. Прослужив несколько лет в далекой Дакии, он вернулся в Рим со шрамами от многих ран и с ревматизмом.

Вилла Светония была расположена в четырех-пяти часах верховой езды от города. В открытой столовой они наслаждались покоем мягкого весеннего дня.

Обед подходил к концу. Безмолвный раб вынес последние, почти не тронутые блюда, мальчик-нубиец наполнил кубки. Они остались одни.

— Как видно, жизнь твоя течет привычным порядком, несмотря на опалу? — сказал Лициний, продолжая неторопливую беседу.

— Скорее он был нарушен раньше, приближением

ко двору и службой. Опала лишь восстановила этот порядок.

Нижняя губа Светоний была все время слегка поджата, как будто в едва заметной иронической полуулыбке. «Совсем как тридцать пять лет назад!» — подумал Лициний.

Тридцать пять лет! Это было в дни императора Домициана, последнего из цезарей, чью жизнь Светоний описал в своем сочинении. Лициний получил его список в Дакии и прочел с жгучим интересом.

— Послушай, Светоний, мы отвыкли друг от друга, — сказал Лициний. — Слишком долго жили по-разному. Ты — философ, а я — солдат, в сущности, только простой и грубый солдат...

Светоний задумчиво смотрел вдаль, на зеленые холмы, озаренные солнцем. Он повернулся к собеседнику и остановил его жестом руки, вытянутой ладонью вниз.

— Думаю, ты преувеличиваешь. Правда, я книжный человек, как сказал еще Плиний. Но моя жизнь шла не только среди книг, а среди людей, в том числе и воинов. Что до тебя, то твоя рука одинаково хорошо держит и меч и перо. Я с большим удовольствием прочел твои записки о Дакии. Спасибо, что ты догадался прислать мне их... Как передовую центурию, за которой последовал весь тяжело вооруженный легион...

Он веселым взглядом окинул массивную фигуру Лициния, отяжелевшую, видимо, за самые последние годы гарнизонной службы в маленькой крепости. Туника белой шерсти открывала могучую грудь, густо поросшую седыми волосами.

— Я хотел спросить, — продолжал Светоний, — что ты думаешь о землях, лежащих дальше к северу и востоку от Дакии? Мыслимо ли и нужно ли Риму их завоевание? Правда, нынешний император миролюбив, но Рим так могуч, что стремление дальше раздвигать границы может оказаться непреодолимым. Если не у Адриана, то у его преемников.

— Решительно немислимо и не нужно, — ответил Лициний. — Эти племена рассеяны по бескрайним просторам, и о них известно немногим больше, чем во времена Геродота...

— Ты помнишь, как мы заучивали Геродота, — прервал его Светоний, поддавшись воспоминаниям.

— Конечно, — усмехнулся Лициний. — Я получил бы тогда порку от рыжего верзилы Квинта, если бы ты не дал мне переписать проклятый греческий текст. Должен тебе признаться, что я теперь не силен в греческом. Мне ведь пришлось служить не в Элладе, как иным счастливчикам, а в местах, где и латынь доводилось слышать не каждый день.

Они выпили довольно много вина, особенно Лициний. Его широкое лицо стало медно-бурым. Светоний был обычно так воздержан, что два кубка, которые он опорожнил, слегка опьянили его. Их беседа становилась беспорядочнее и сердечнее.

Он хлопнул в ладоши. Бесшумно вошел мальчик и по его приказанию принес еще кувшин фалернского и блюдо прошлогоднего винограда, хорошо сохранившегося в погребах виллы.

— Ты спрашиваешь меня о варварах, живущих в степях и лесах за Понтом... — Лициний, оказывается, обдумывал его вопрос. — Тебя, наверно, удивляет, что мы так мало знаем об этих сарматах и скифах. Ведь границы Рима вплотную придвинулись к их землям. Но они не допускают к себе купцов и путешественников, а когда мы попытались проникнуть туда военной силой, это кончилось для нас печально. Торгуют они так: в назначенное место приносят свои товары и оставляют для обмена. Ты должен оставить, в свою очередь, то, что считается нужным для них. Жители пограничных районов это отлично знают. Если варвары недовольны обменом, они больше не появляются. Ради чего завоевывает Рим новые провинции? Что бы ни заявляли сенаторы и их клевреты, мы с тобой это хорошо знаем:

ради рабов. Но сарматы и скифы — совершенно негодные рабы. Я сам видел четырех варваров — двух мужчин и женщину с ребенком, — которые перерезали себе горло, когда их привели пленниками в нашу крепость. Один из мужчин незаметно спрятал под одеждой нож, и они передавали этот нож друг другу. Женщина, прежде чем зарезать себя, убила ребенка. Уверяю тебя, я видел в жизни немало ужасов, но эта картина...

Светоний заметно побледнел. Он был мягкосерд и чувствителен. Когда ему по долгу службы и положению приходилось бывать на кровавых зрелищах в новом амфитеатре Флавиев, для него это каждый раз было тягостно.

В книге Светоний должен был много рассказывать о злодеяниях, пытках и казнях, которыми были наполнены времена недавних правителей. Он писал в надежде, что это — только прошлое, которому не позволят вернуться разум и просвещение. Казалось, нравы и порядки при Траяне и Адриане подтверждали это.

Светоний был огорчен своей незаслуженной опалой и обижен на Адриана. Но он лучше многих знал и то, что при другой власти он легко мог попасть не на свою уютную виллу, а в руки палача.

...Вечерело. Солнце спускалось к холмам, за которыми едва ощутимо дышало невидимое море. Они еще раньше договорились, что Лициний останется ночевать. Поэтому спешить было некуда. Лициний, как и хозяин, был холост. В Риме он жил пока в доме своего богатого вольноотпущенника и готовился ехать на воды для лечения...

— Твои рассказы замечательны, — сказал Светоний. — Если бы ты согласился, я посадил рядом с нами скорописца, раба-грека, чтобы он записал главное. Не сегодня, разумеется...

Лициний засмеялся.

— Ты — истинный ученый, Светоний. И как истин-

ный ученый, слегка педант. Без этого, наверно, ты бы не мог сделать так много. Честно говоря, я не всему верил, что говорили. Правда ли, что ты сочинил том о римских состязаниях и изучал бранные слова?

Светоний улыбнулся смущенно.

— Сознаюсь, сознаюсь... После того как я купил этот клочок земли, — он обвел рукой воображаемые границы своего поместья, — у меня было несколько лет досуга для моих трудов. Хозяйство здесь, как видишь, не большое, оно только в меру развлекает меня. Мне тогда казалось, что мой долг — описать для будущих поколений быт, язык, нравы нашего народа. Этого хотел и покойный Плиний.

— Говорят, ты был с ним близок?

— Да, — с легкой гордостью подтвердил Светоний, — могу сказать, что он был мне другом. Пожалуй, больше, чем другом. Он был моим постоянным советчиком, если хочешь, покровителем...

Светоний помедлил и продолжал:

— Мой характер, видимо, создан так, что нуждается в руке друга, которая бы меня направляла и подталкивала. Кроме того, я знаю, что неопытен и непрактичен в делах повседневной жизни. Думаю, этот опыт я уже не приобрету.

— Друг мой, — сказал Лициний с неожиданным чувством и силой, — ты хорош именно таков, каков ты есть. Я бы очень не хотел, чтобы ты стал другим. Право, я люблю тебя, Светоний, и теперь больше, чем в юности. Когда я возвращался из Дакии, мне встретился в Брундизии один патриций. Он сказал, что ты не то тяжело болен, не то даже умер. Я так рад, что он солгал.

Светонию стало немного неловко. Человек сдержанный, он стеснялся выражения чувств, даже приятных ему.

— Как все же случилось, что ты поссорился с императором? — напрямик спросил Лициний. — Ведь вы, кажется, подходите друг другу: Адриан человек уче-

ный и покровительствует наукам. К тому же, как говорят, он разумен и справедлив. Когда до меня дошла весть, что ты занял важную должность при его особе, я возблагодарил богов. Наконец-то, думал я, цезаря будут окружать люди, которые помогут ему мудро править империей.

— Мое влияние было вовсе не так велико, как тебе кажется, — сказал Светоний. — Самое большее, я ведал перепиской императора с правителями провинции и с союзниками. Я ничего не решал.

— Но ты составлял письма! Ты мог подсказать решение, мог выразить его волю по своему разумению.

— Да, это бывало, — согласился Светоний. — Но больше в частных, нерешающих вопросах. Адриан любил поручать мне дела, которые касались философов, ваятелей, художников. Я вел по этим делам всю переписку с Грецией.

Светоний знал, что собеседник ждет ответа на свой вопрос. Он помолчал, едва заметно вздохнул и продолжал:

— Видишь ли, дорогой Лициний, я сделал ошибку, недопустимую для царедворца. Именно потому и сделал, что не мог стать настоящим царедворцем. Я сказал императору правду, когда ему была скорее нужна ложь.

Лициний недоуменно поднял бровь, но промолчал.

— Позволь мне рассказать все по порядку. Но прежде пойми вот что. Адриан действительно человек ученый и справедливый. Но каким бы человеком он ни был, он прежде всего правитель. Как человек, Адриан может рассуждать подобно мне и тебе, но действовать и публично говорить он будет совсем иначе. Он будет руководствоваться вовсе не простыми и естественными человеческими чувствами, а благом государства — действительным или мнимым, долгом императора — опять-таки действительным или воображаемым. И тогда бойся тот, кто рассчитывал на его разумность и гуманность! Не скажу, что это было мне ясно с самого на-

чала. Напротив, шесть лет назад я начинал службу, полный надежд и усердия. Я испытал немало разочарований, но служить продолжал до самого конца честно, не жалея ни сил, ни времени. Правда, два или три раза я позволил себе, ведя дело, немного изменить волю императора, действовать так, как будто я — рука человека, а не властелина мира. Однажды Адриан заметил это, и я получил выговор, впрочем, довольно мягкий. Но он ничего не забывает! Этого случая было, видимо, достаточно, чтобы его мнение обо мне изменилось. Думаю, он вспомнил его, когда решал мою судьбу...

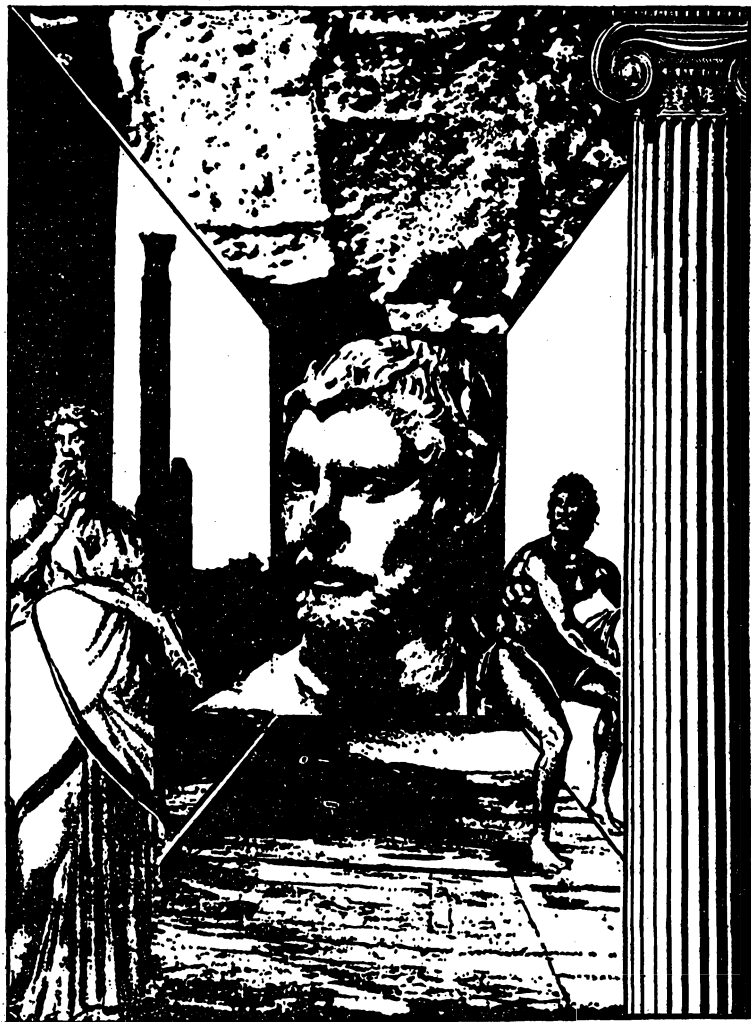
Светоний наполнил кубки и сделал большой глоток. Гость нетерпеливо сказал:

— Но я слышал, что твоя опала каким-то образом связана с супругой Адриана. То же самое, впрочем, говорят об отставке Септиция Клара, начальника преторианцев...

— Не думаешь же ты, Лициний, что я был любовником императрицы Сабины, да еще вместе с Септицием Кларом! — Светоний не мог удержаться от широкой, немного даже пьяной улыбки.

— Не думаю, конечно. Но, откровенно говоря, Светоний, я считаю, что в Риме возможно все. Почему бы и нет, будь я проклят! Если бы ты мне сказал, что ты был ее любовником, я бы очень удивился. Но здесь случаются и более невероятные вещи. Однако объясни же мне, что произошло...

— Может быть, ты слышал, что Сабина — нелюбимая жена? Адриан не выносит ее суровый нрав, хотя сам он отчасти этому виной. По-моему, эта женщина достойна всяческой любви и уважения. Но тайны Венеры скрыты от людей. Философия в них не проникла и едва ли когда-нибудь проникнет. У Сабины есть и ум и вкус. Она всегда любила беседы философов, чтения поэтов, состязания певцов. По ее просьбе я читал ей «Жизнь цезарей» еще до завершения книги. Это не вы-



звало никакого неудовольствия Адриана, однажды он и сам присутствовал при чтении...

— Что же он сказал? — спросил Лициний, не подумав, что своим вопросом вновь отвлекает рассказчика.

— Сказал, что он облегчит труд будущим авторам и сам опишет свою жизнь. Не знаю, было это одобрением или порицанием моего труда... Но слушай дальше. Я был в это время близок с Септицием Кларом, и в его доме часто собирался наш круг. Сабина не могла появляться там, пока Адриан был в Риме. Но когда он надолго уехал в провинции, она почувствовала свободу. Вскоре я увидел ее у Септиция. Она приняла меры предосторожности: ее доставили в закрытых носилках, как частное лицо, к тому же было уже темно. Общество собралось небольшое. Из женщин была только Клодия, афинская гетера, возлюбленная молодого Луция Вара. Императрица, конечно, уступала ей молодостью и красотой, но не умом и тактом. Мы ели, пили, говорили и читали всю ночь. На рассвете Сабина так же осторожно отправилась домой под охраной двух рабов-германцев. От ее имени Септиций просил нас хранить этот визит в тайне. Видимо, ей понравилась наша встреча, и она появилась там еще два или три раза...

— Дальше все можно рассказать очень кратко, — продолжал Светоний после небольшого молчания. — Через несколько дней после своего возвращения Адриан принимал у меня отчет о делах. При этом было еще несколько приближенных. Выслушав, он вдруг сказал, глядя мне в глаза: «Светоний! Я получил донос, что моя жена тайно посещала дом Септиция Клара. Доносчик сообщает, что ты тоже бывал там в этих случаях и что вы занимались гнусными оргиями. Должен ли я этому верить?» Кровь бросилась мне в лицо. Не думая, я сказал: «Цезарь, твоя супруга действительно была несколько раз у Септиция в числе почтенных и уважаемых гостей. Все остальное в этом доносе — низкая

клевета...» Я хотел говорить дальше, но Адриан остановил меня. «Довольно, — сказал он, — я верю тебе». На следующий день я получил его письменный приказ передать дела моему помощнику. Он благодарил за службу и назначал награду в двадцать тысяч сестерциев.

— Как же это понимать? — изумленно спросил Лициний, который чтобы лучше слышать негромкий голос Светония, поднес ладонь к уху: после удара по голове, полученного лет десять назад в Сирии, он иногда плохо слышал.

— Как понимать? — повторил раздумчиво Светоний. — Я думаю, вот как. Как мужчине и человеку Адриану были, вероятно, безразличны невинные вольности Сабины. Но как римский цезарь он не мог оставить донос, к тому же получивший огласку, без последствий. Он должен был объявить это ложью и наказать доносчика, либо признать, что проступок был, и опять-таки кого-то наказать. Когда я вспоминаю его лицо во время разговора, мне кажется, что он ожидал от меня отрицательного ответа. Или хотя бы уклончивого. Позже я узнал, что Луций Вар ответил на вопрос императора так: среди гостей была однажды матрона, лицо которой он не рассмотрел под покрывалом, но он не думает, что это была супруга цезаря; к тому же он был, мол, пьян. Но я не имел ни времени, ни хитрости, чтобы придумать подобное. Лициний, — горестно сказал Светоний, — я запутался в этих сетях!

— Понимаю, — сказал Лициний. — А ты не думаешь, что Адриан ждал от тебя совсем другого ответа: подтверждения вины императрицы, включая оргии и тому подобное?

— Не думаю. Если бы он хотел избавиться от нее, он давно сделал бы это. Напротив, он не хотел и не хочет скандала. Своя семья для него — дело государственное, а не личное. О, как он любит этот декорум благопристойности!.. Итак, надо было кого-то наказать

за нарушение декорума, и я оказался самой подходящей жертвой. Что до Септиция, то с ним у императора были еще кой-какие счеты. Но об этом в другой раз... Теперь ты видишь, как я вновь оказался здесь и почему имею удовольствие принимать тебя.

Он встал и, положив руку на плечо Лициния, сказал:

— Не хочешь ли пройтись? Я покажу тебе мои владения, а ты расскажешь о своих делах. Мы все время говорили обо мне. Право, довольно.

Лициний согласился и осторожно поднял с ложа отяжелевшее тело. Земля в саду была усеяна лепестками цветов фруктовых деревьев. Они недавно отцвели.

ПОХИЩЕНИЕ

1

Председатель оппозиционной либерально-реальной партии Моло Риклес был похищен во время футбольного матча. Фантландия играла с Эквигомией на Южный Кубок. Судья не засчитал забитый фантландцами гол, который решал исход игры в их пользу, и стадион взревел. Послышались выстрелы. При входе каждого зрителя прощупывали и просвечивали, но все равно оружие как-то попадало на трибуны.

Телохранители Риклеса в исступлении влезли на па-рапет ложи и орали, надрывая глотки. В этот момент четверо с зелеными повязками спортивной полиции на руках вошли в ложу. Двое схватили Риклеса за руки, третий сунул ему в лицо тряпку со сладковатым дурманом. Четвертый наблюдал за телохранителями. Они вытащили его под видом потерявшего сознание болельщика. Постовой полицейский помог им погрузить Риклеса в машину с номерным знаком столичного управления.

Открыв глаза, Риклес увидел стену, точнее, обои с рисунком, изображавшим непристойную сцену. Он повел глазами и увидел стократное повторение этой сцены. Выждав еще полминуты с закрытыми глазами, он перевернулся на левый бок и увидел, что лежит на кровати

в небольшой комнате без окон. Свет исходил от настольной лампы, стоявшей около кровати. В комнате был еще письменный стол, два кресла у низкого столика, несколько стульев и шкаф. Он был одет в незнакомую пижаму, его костюма нигде не было видно.

Риклес спустил босые ноги с кровати, вставил их в ночные туфли и с трудом доковылял до двери. Она оказалась заперта. Риклес постучал. Дверь почти мгновенно открылась, как будто человек за ней ждал сигнала.

Раздвинув портьеру, вошел молодой человек в спортивной рубашке и притворил за собой дверь.

— Кто вы такой? — строго спросил Риклес, но строгости не получалось: мешали пижама и шлепанцы.

Вместо ответа парень снова открыл дверь и протянул руку за портьеру. Кто-то вложил ему в руку пачку газет, которую он подал Риклесу. Потом, по-прежнему молча, подошел к шкафу и раздвинул створки. Риклес увидел, что это вход в ванную.

— Завтрак будет через полчаса. Омлет и кофе вас устроят? — вежливо спросил он. Риклес не ответил и поковылял обратно к кровати. Чувствовал он себя как после попойки: голова кружилась, подташнивало.

Риклес развернул лежавшую сверху газету. Это оказался «Вестник дня», не слишком солидный листок, поддерживавший правящую национально-моральную партию. С первой страницы глядело его лицо, молоджавое, улыбающееся. «Дерзкий акт терроризма. «Братья Антихриста» взяли на себя ответственность за похищение лидера оппозиции». Газетная статья поведала, что ему 47 лет, что он женат и имеет двух сыновей 23 и 16 лет; даже, что он перенес в прошлом году операцию на прямой кишке по поводу полипоза. «Тина Риклес опасается за жизнь своего мужа. Семья намерена обратиться к королю», — прочел он дальше.

Риклес содрогнулся. «Братья Антихриста» были полурелигиозной, полуполитической сектой, которая вер-

бовала своих сторонников в отсталых западных районах. Месяц назад они похитили генерального казначея Фантландии Ислиса. Через пять дней его изуродованное тело было найдено в тщательно охраняемом саду королевского дворца.

Часы показывали восемь сорок, газеты были утренние. Значит, прошло около десяти часов со времени похищения на стадионе.

Завтрак немного улучшил его настроение. Они не допустят второго политического убийства, подумал он о правительстве. Они обменяют его на «братьев», которые отбывают длительные сроки. Тина пойдет к королеве, они когда-то были близки... Но тут же он вспомнил, что за Ислиса «Братья Антихриста» запросили так много, что правительство не смогло пойти на сделку. Потом подумал, что Тина всего две недели назад узнала о его связи с этой чертовкой с телевидения.

Утром следующего дня тот же парень принес ему газеты. Они сообщали: «Братья Антихриста» требуют за его жизнь храм святого Патрона. Он должен быть взорван не позднее следующего вторника. Сегодня была пятница. В глазах у него потемнело: он представил себе огромный, без малого тысячелетний храм, национальную святыню и приманку туристов... Теперь он пожалел, что не последовал совету старого друга — на всякий случай иметь яд в контейнере, вращенном в ноготь большого пальца.

Часа через два вошли двое в масках, мужчина и женщина. У мужчины была седеющая борода, Риклесу показалось, что он где-то видел этого человека. Но это впечатление быстро исчезло. Женщина, неприметная, узкая, в черном, сказала, протягивая ему микрофон:

— Вы можете обратиться к кому вам угодно. Мы гарантируем доставку.

Риклес спросил:

— Что будет со мной, если правительство не согласится?

Вместо ответа мужчина достал из кармана коробку микромагнитофона, нажал кнопку. Комната наполнилась душераздирающим воплем, потом слышались рыдания и бессвязные мольбы.

— Этот голос должен быть вам знаком, — сказал мужчина.

Риклес упал бы, если бы не ухватился за спинку кровати: он узнал голос генерального казначея Ислиса. Ему дали в стакане что-то выпить, стало легче. Он попросил пятнадцать минут на размышление. Оба страшных гостя вышли.

...Он записал на пленку три послания. Краткое обращение к королю. Письмо премьер-министру с просьбой немедленно начать переговоры с террористами и добиваться компромисса. Письмо Тине и детям.

Надо было бороться за жизнь. Возвращая микрофон, он потребовал встречи с руководителями организации. Мужчина спокойно сказал, что такая встреча состоится в воскресенье.

Настала суббота. Газеты подтвердили, что все его письма дошли до адресатов. Король лично звонил его жене и обещал сделать все для спасения Риклеса. Состоялось экстренное заседание правительства. Состоялось заседание правления его партии. Министр внутренних дел отказался как подтвердить, так и опровергнуть сообщение одной из газет, что полиция напала на след преступников. В парламенте депутат левой рабочей партии потребовал немедленной отставки правительства. Национал-моралисты устроили ему обструкцию, во время его речи кто-то взорвал петарду со зловонным газом. Дебаты перенесены на понедельник. Риклесу оставалось только злиться, бояться и ждать.

В воскресенье он встал рано, сделал гимнастику, тщательно побрился и заставил себя съесть завтрак. Он должен быть в хорошей форме. Они пришли часов в одиннадцать — знакомые ему мужчина и женщина в масках. Но его никуда не повели, а пригласили сесть.

Он опустился в кресло и закурил, деловито и медлительно, пытаясь скрыть дрожь в руках.

— С кем из ваших коллег вы хотели бы связаться? — спросил мужчина, в упор глядя на Риклеса.

— Зачем?

— Мы получили сообщение: похищен А-1. Мы хотели бы вступить в переговоры.

Риклес молчал, лихорадочно обдумывая ситуацию. Волна радости охватила его, но он не позволял себе расслабиться. Он знал, что А-1 означает Антихрист-1. Сектой руководили три антихриста, три родных брата. А-1 был старший и самый влиятельный, в сущности, хозяин. Его похищение все меняло. Только кто мог это сделать? Он был невысокого мнения о секретной службе своей партии и не очень верил, что эти ротозеи за два дня могли выследить и поймать таинственного А-1.

— Свяжите меня с адвокатом Хинкром, — сказал он наконец.

Женщина протянула ему микрофон, но он отвел его рукой и сказал:

— По телефону.

Они переглянулись, по знаку мужчины поднялись и вышли. Дерзость оправдала себя: минут через десять они вернулись, парень тянул шнур аппарата. У бородастого и его спутницы было по наушнику.

— Не надейтесь, что полиция засечет разговор, — сказал мужчина. — Вообще постарайтесь лучше не вмешивать полицию.

В этом Риклес был с ним совершенно согласен. Он набрал номер, моля бога, чтобы Чил Хинкр, его адвокат и близкий друг, оказался в своем кабинете. Ему повезло.

— Чил, я жив и невредим, но не свободен. — Предупреждая любые вопросы, Риклес продолжал: — Держите дело А-1 под контролем. Это похищение очень своевременно. Вы знаете, с кем работать в правлении...

Риклес не хотел раскрывать имена людей, возглав-

ляющих секретную службу партии. Хинкр был умный человек. Похоже, он не имел понятия о похищении Антихриста, но не подал и виду. Задав лишь несколько невинных вопросов, он спросил, как поддерживать контакт с Риклесом. Риклес вопросительно посмотрел на мужчину. Тот тихо сказал: вы позвоните ему в пять дня.

Риклес послушно повторил это Хинкру и положил трубку. Они ушли, забрав телефон. Парень принес ему транзистор. Он включил его и через несколько минут услышал: премьер-министр заявил, что правительство решило вступить в переговоры с антихристами. Из канцелярии премьера просочился слух, что оно предложило секте заменить храм святого Патрона двумя менее значительными и удаленными от центра столицы церквями. Правительство требовало отсрочки и предлагало обсудить вопрос о гарантиях. О похищении А-1 ничего не говорилось...

Они пришли рано, около двух. И снова сели, пригласив сесть и его. На этот раз заговорила женщина:

— Как выяснилось, ваши друзья непричастны. А-1 похищен за час до начала футбольного матча.

Совпадение? Это, конечно, хуже, но все же удача. Риклес пожал плечами и молчал. Она продолжала:

— Совет отверг предложение о двух церквях. Завтра с вами, возможно, будет говорить А-2.

Риклесу опять стало страшно. Черт их знает, этих антихристов: может быть, они готовы пожертвовать своим вождем? Он сам мог побиться об заклад, что больше половины членов правления его собственной партии были бы довольны, если бы дело кончилось его, Риклеса, устранением.

Конец дня и весь понедельник прошли спокойно, если можно было назвать спокойствием его состояние. О свидании с А-2 ничего не было слышно. Принесся обед, парень в спортивной рубашке, который почему-то стал немного разговаривать с Риклесом, коротко сказал, что А-1 был захвачен неизвестными на своей яхте у Бир-

ских островов. Одна группа увезла А-1, другая держала экипаж яхты двое суток пленниками, так что они ничего не могли сообщить в центр.

Вечерние известия начались новой сенсацией. Час назад при выходе из здания парламента неизвестные захватили мадам Жу, главу парламентской группы «Желтых Амазонок». Полиция открыла стрельбу и убила одного из похитителей, но задержать синюю «Стольгу», в которой увезли мадам Жу, не удалось. Двое полицейских и четверо прохожих ранены. Мотивы похищения пока неизвестны. Комментатор напомнил, что младшая сестра похищенной Рона Го — модель фирмы «Дубль-дубль», в позапрошлом году победительница конкурса красоты «Южный крест», одно время близкий друг адмирала Т.

«Желтые Амазонки» была организация женщин-иммигранток. На последних выборах за их кандидаток было подано около 6 процентов голосов, они имели трех депутатов во главе с мадам Жу. Риклес был немного знаком с этой 35-летней женщиной, неутомимой на заседаниях комиссий, остроумной за рюмкой вина и чашкой кофе. Как все, он знал, что «Желтые Амазонки» имели нелегальный филиал, занимавшийся непарламентскими методами борьбы. Но политическая репутация мадам Жу всегда была безупречной.

Оргия похищений на этом не кончилась. На следующий день, около трех часов, задышающийся от волнения диктор сообщил, что исчезла Рона Го. Она ушла из дома поздно вечером после чьего-то телефонного звонка и не вернулась. Жившая с ней женщина, секретарь, компаньонка и служанка, сообщила в полицию в полдень. Не могло быть сомнения, что это как-то связано с похищением старшей сестры. Может быть, Рона понесла выкуп и была вместе с деньгами захвачена террористами? Может быть, ее заманили с помощью мадам Жу, которая действовала по принуждению?

В вечерних газетах дело сестер оттеснило на задний

план историю Риклеса. Это дело было новее, пикантнее, загадочнее. К своему собственному изумлению, Риклес почувствовал нечто вроде ревности. Он рассмеялся, если бы события последней недели не отучили его смеяться.

Прошел вторник. От своих хозяев Риклес узнал, что антихристы торгуются с правительством: кроме взрыва церквей, они требовали теперь освобождения 12 своих людей, сидевших в тюрьмах по приговорам или в ожидании суда. Похоже, они затягивали дело, надеясь, что как-то прояснится судьба А-1.

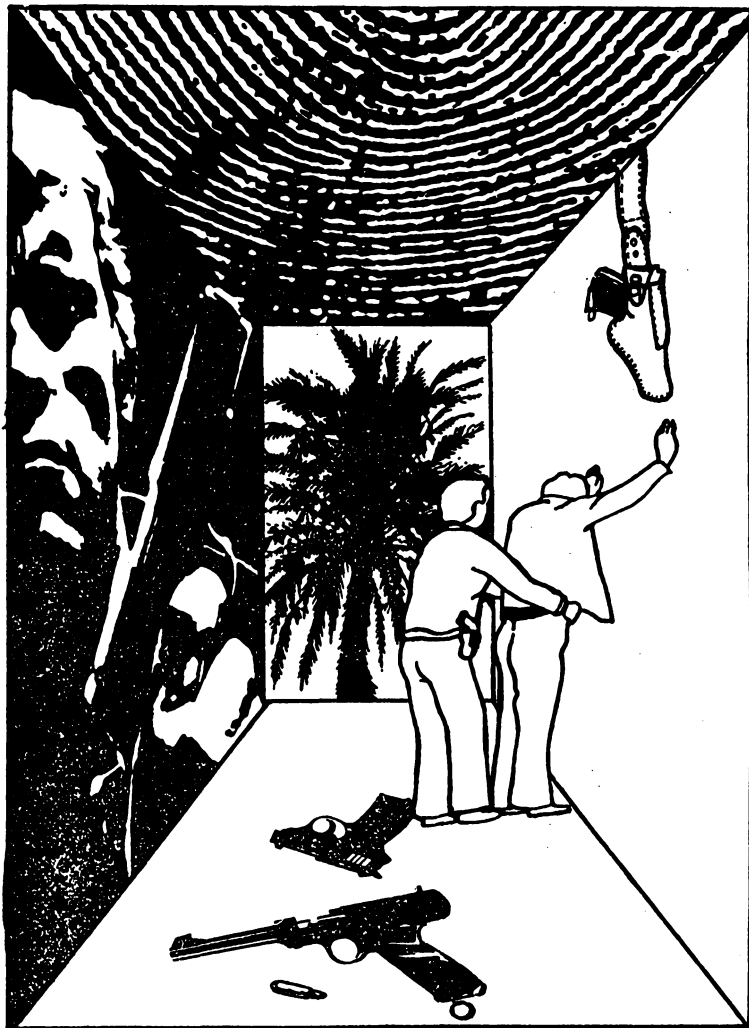
В шумихе, вызванной похищением мадам Жу и исчезновением ее сестры, немного внимания привлекла гибель 19-летнего сына мэра столицы. Юноша, видимо, утонул в море, хотя был отличным пловцом. Все попытки найти труп пока оставались тщетными.

2

Глаза ему развязали через полчаса после отъезда. По скорости машины он догадался, что уже выехали за город. Впервые за две недели он видел дневной, вернее, сумеречный, свет: был вечер теплого, ясного февральского дня. Сначала местность показалась ему совсем незнакомой, потом он догадался: это была дорога на север, к озеру Тонго. Ехали в трех машинах. Его везли в средней, он сидел между бородатым и парнем, который его обслуживал. Женщина, сменившая свое черное платье на брюки и свитер, сидела с водителем.

А вот и Бонки, маленький городок, весь в садах. Когда он был здесь последний раз? Вспомнил: ровно четверть века назад, студентом. Он приехал на уик-энд к приятелю и дьявольски влюбился в его сестру. А был ли он уже знаком с Тиной? Конечно, был. Она даже обиделась, что он бросил ее в тот уик-энд... Но она ему отомстила по-своему...

Еще полчаса, и они выехали на шоссе, огибавшее



озеро. Было уже совсем темно, в разрывах леса озеро лежало черным пятном. Они подъехали к пристани одного из курортных поселков. Риклес слегка успокоился: если бы его везли убивать, не нужны были три машины, полные вооруженными антихристами, да они нашли бы для этого и другое место. Но все равно он чувствовал нервный озноб.

Его перевели в небольшой катер, в котором поместилось пятеро антихристов, включая троих его спутников. Через несколько минут они причалили к островку, где сиял огнями ресторан «Кло», Риклес бывал там раза два или три, но не мог вспомнить, при каких обстоятельствах.

Островок оказался странно пустынным. Их встретили двое и проводили боковым входом в один из кабинетов. Он был соединен дверью с главным залом ресторана. Когда дверь приоткрыли, Риклес увидел, что зал совершенно пуст. Посреди зала из столов было составлено каре, лишние столы сдвинуты к стенам.

Риклес и его спутники сели за два столика в кабинете. Он с наслаждением выпил двойной гроп с лимонным соком, потом кофе. С ним никто не разговаривал, да и между собой антихристы говорили мало. Бородастый был, по-видимому, главой группы. Женщина, посидев с ними несколько минут, вышла. Ждать пришлось довольно долго. Наконец в зале послышались голоса, шарканье ног, шум передвигаемых стульев. Затем все стихло, и раздался знакомый, негромкий, но очень внятный голос. Говорил Хинкр.

— Дамы и господа! Едва ли здесь нужны долгие речи. Наши дорогие пленники и пленницы (Хинкр сделал паузу) слишком долго томятся в тревоге и неизвестности. Добрая воля всех заинтересованных сторон и неустанные усилия моих помощников позволили достичь желанного соглашения. Могу сообщить, что правительство в лице министра внутренних дел гарантировало свое невмешательство до семи часов утра завтрашнего

дня. Многие здесь, вероятно, заинтересованы в том, чтобы покончить с делом как можно скорее. Я уверен, что так оно и будет. Напоминаю, что соглашение категорически исключает фото- и киносъемку процедуры.

Хинкр замолчал. Несколько голосов слились в гул согласия.

— Господа, — снова слышался уверенный голос Хинкра, и Риклес живо представил его высокую спортивную фигуру и крупную голову, всегда напоминавшую ему римские портретные бюсты. Лысина не только не портила эту голову, но казалась просто необходимой.

— Господа! Я буду называть участников нашей встречи теми именами, которыми они сами предпочли сегодня называться. Однако я и мой помощник самым придирчивым образом проверили их полномочия.

«Кто же работал с Хинкром? — подумал Риклес. — Неужели Лодина, его помощница и любовница? Интересно, здесь ли она? Наверняка здесь. Серьезной опасности нет, а Хинкр не мог упустить случай показать ей себя во всей красе».

— Господин Гуна, — сказал Хинкр, — в руках ваших людей находятся мадам Жу и ее сестра мадемуазель Рона Го. Прошу вас подтвердить ваше согласие освободить их и сообщите ваши условия.

— Мы согласны обменять дам на сына мэра, — ответил невидимый господин Гуна. Риклес понятия не имел, кто это такой. Несомненно, это был псевдоним.

За дверью слышался гул изумления и любопытства. Теперь было понятно, почему не нашли труп.

— Господин Рили, — с некоторой торжественностью начал Хинкр, — насколько я понимаю, вас интересует судьба другого лица. На каких условиях согласны вы освободить сына мэра, Моло Тониса?

— Пусть антихристы отпустят Риклеса.

Риклес вздрогнул. Это был голос отлично ему изве-

стного человека — начальника секретной службы партии. Только звали его совсем иначе. На кой дьявол им понадобилось похищать сына мэра? Но если это давало ему свободу...

На следующий вопрос Хинкра хрипловатый голос ответил, что они отпустят Риклеса, если получат взамен и немедленно лицо, известное под именем А-1.

Сейчас выяснится, в чьих же руках первый антихрист этой христианской страны, подумал Риклес. И сам удивился очевидному ответу: в руках «Желтых Амазонок»! Это подтвердилось через несколько секунд.

— Прекрасно, — сказал Хинкр с нотой торжества в голосе. — Теперь мы можем приступить к обмену. Я прошу ввести всех поименованных лиц. Согласно договоренности, каждого из них могут сопровождать три человека. По моей команде пленники перейдут к своим друзьям, готовым их принять.

Дверь открылась, и Риклес вошел в зал между бородатым и парнем в рубашке. Сзади шел еще один антихрист. Все они были в масках. Через дверь напротив входил крепкий мужчина лет сорока в сопровождении трех женщин, одетых в мужские полувоенные костюмы. Риклес бросил взгляд направо и увидел мадам Жу. Рядом с ней стояла Рона Го, еще более красивая, чем он себе представлял. Она была на полголовы выше своей сестры, строгое платье рисовало идеальную фигуру, известную каждому фантландцу. Корона темных волос венчала прекрасную голову. Слева ввели долговязого юнца в темных очках и с саквояжем в руке. «Ведь это наши люди с ним!» — подумал Риклес. Это, несомненно, были агенты секретной службы либерально-реальной партии, но Риклес не знал их в лицо. Мерзавцев, прозевавших его на стадионе, среди них не было. Он всегда выступал за укрепление секретной службы, хотя на нее было много нареканий в правлении и в парламентской группе либерал-реалистов. Наконец-то она пригодилась!

В центре каре стоял небольшой стол, за которым возвышалась фигура Хинкра в темном костюме. Отблики играли на его голом черепе. Справа от него сидела Лодина, слева незнакомый Риклесу помощник-мужчина. На отдельно стоящих стульях сидели два телохранителя. За столом напротив себя Риклес увидел начальника секретной службы партии, которого Хинкр называл Рили.

Хинкр подал команду. С трудом передвигая вдруг онемевшие ноги Риклес двинулся вперед, обходя каре слева. А-1 обходил его с противоположной стороны, а навстречу ему быстро шел юноша в темных очках. Хинкр, улыбаясь, глядел на Риклеса. Он поймал взгляд адвоката и слабо улыбнулся в ответ. Все молчали, слышался только звук шагов. Начальник секретной службы встал и шел навстречу Риклесу, открыв объятия. В них Риклес и угодил. Зал наполнился радостными восклицаниями, смехом, звуками поцелуев. Кто-то грубо выругался, какая-то женщина всхлипнула.

Риклес вошел в дверь кабинета, откуда вышел сын мэра. Тина повисла у него на шее с рыданиями. Рядом стоял младший сын, Туро. Когда Тина наконец отпустила его, он прошел через очередь объятий и похлопываний по спине: здесь были все высшие функционеры партии. Запрет для прессы теперь кончился, и Риклес моргал от вспышек и жмурился от света юпитера, который втащили молодцы с телевидения. Не хватало только увидеть сейчас его подругу последних месяцев. Она была телекомментатором и подавала большие надежды... Но ее не было, и он успокоился.

Они вышли в ночную прохладу. Риклес посмотрел на часы, было полпервого ночи. Он увидел, как А-1 и десяток людей, все в масках, усаживались в катер, а трое молодцов без масок, с автоматами наперевес, отесняли толпу фоторепортеров и кинооператоров. Он вдруг заметил полную луну, висевшую в ясном небе.

— Как все это, черт подери, удалось тебе, Чил?

Риклес и Хинкр сидели в кабинете адвоката за низким столом, на котором стояло несколько бутылок. С ними была Лодина. Она всегда нравилась Риклесу, а сейчас ее присутствие было ему особенно приятно. Во всем теле и в голове он чувствовал расслабленность и покой. Вчерашний день он провел дома, в кругу семьи. Сегодня все было бурно и напряженно — аудиенция у короля, беседа с премьер-министром, заседание правления партии, три интервью... Наконец он может посидеть с друзьями, теперь уже несомненно — самыми близкими друзьями... Да, Хинкр — подлинный друг, хотя он, конечно, здорово заработал на этом деле. Только правление либерал-реалистов выплатило ему семьсот тысяч. Как раскошелились амазонки и антихристы, было, конечно, тайной. Да еще мэр... Но самое главное — реклама. Вчера и сегодня газеты полны успехом Хинкра. Ну что же, старина Чил это заслужил! Все же благодаря ему Риклес пьет теперь двадцатилетний французский коньяк, а не томится в своей тюрьме. Впрочем, сейчас он уже вполне мог последовать за беднягой Ислисом. Риклес вспомнил ту запись и резко вздрогнул. Наливая бокал, Хинкр пробормотал: «Ну-ну, дружище!», а Лодина ласково положила мягкую ладонь на его руку.

— А это идея Лодиной, — широко улыбаясь, сказал Хинкр.

В улыбке открылись зубы, слишком ровные и белые для его возраста, — вернее всего, работа дантиста. Риклес вопросительно посмотрел на Лодину. Ее лицо чуть порозовело от слов Хинкра.

— Дело в том, старина, что мы с тобой учились много лет назад, а Лодина четыре года как из университета.

— Вот уж не думал, что для такой операции нужен университет...

— Идея, друг мой, идея! В головах, забитых низкой практикой — убийства, изнасилования, похищения, — идеи рождаются туго...

Хинкр рисовался. Он давно уже не вел мелких уголовных дел и был не только юристом, но и политиком. Его специальностью было неофициальное посредничество между партиями и группами в разных щекотливых делах, где много значили связи, такт, умение хранить чужие тайны.

— Что же это была за идея? — спросил Риклес, обращаясь к женщине.

— А разве ты не заметил, что до позапрошлого года у Чила не было абсолютно никаких идей? — сказала Лодина. Мужчины захохотали. Лодина работала с Хинкром второй год.

Она закурила сигарету и продолжала серьезно:

— Впрочем, он прав. Когда Хинкр выяснил, что А-1 похитили амазонки, а мадам Жу и Рону — люди мэра, я сказала: если бы теперь либерал-реалисты могли положить руки на мэра или кого-то очень ему дорогого, получилась бы замкнутая цепь взаимного зачета.

— Какого зачета?

— А это действительно из курса банковской техники, который нам читали. Профессор Мелис, аккуратный такой старичок. Он был одно время президентом Национального банка. Он говорил (Лодина встала, ссутулилась и изобразила профессора Мелиса с поднятым указательным пальцем правой руки): «Если А должен Б сто ларов, Б должен столько же В, В имеет такой же долг перед Г, а сей последний Г должен те же сто ларов А, то никто никому ничего не должен, ибо возможен полный взаимный зачет. Нужна лишь полная информация и инициатива!»

— Вот именно, — подхватил Хинкр, — мы имели эту полную информацию и проявили инициативу.

— Ну, это было не просто. Чил носился по городу, да и не только по городу, как ураган, а я сидела на телефоне...

— На телефоне, который наши люди гарантировали от подслушивания, — вставил Хинкр.

— Неужели все похищения никак не были связаны между собой? — спросил Риклес.

— Первые три — никак. Четвертое было организовано.

— Чтобы замкнуть цепь, — сказала Лодина.

— Да, чтобы замкнуть цепь. К счастью, твои молодцы с этим неплохо справились. Прибавьте жалованье этому... Рили, или как его настоящее имя... «Желтые Амазонки» взяли А-1 на яхте, но они и понятия не имели, что через час тебя вытащат как мешок со стадиона. Они намеревались сразу объявить: вот цветные женщины без полицейского аппарата сделали то, чего не могут сделать белые мужчины со всеми средствами государства. Но через несколько часов они узнают о твоём похищении. Это путает им карты, они решают выждать...

— Но при чем тут мадам Жу и ее сестра?

— О, это совсем другое дело, — сказал, улыбаясь, Хинкр. — Оказывается, в мире еще есть любовь...

— Любовь... — презрительно протянула Лодина.

— Ну, я готов называть это так, как ты мне прикажешь. Во всяком случае, мэр Тонис давно безуспешно домогался Роны Го. Ему казалось, что любовница отставного адмирала легко станет любовницей функционирующего мэра столицы. Но он почему-то ошибся. И он разыграл комедию. Какие-то негодяи похищают мадам Жу, потом заманивают Рону, а благородный мэр спасает обеих от своих же наемников. Каково придувано?

— Но как тебе удалось все это выяснить? Ведь было совершенно неизвестно, кто похитил А-1 и сестер? Хинкр самодовольно ухмыльнулся.

— В любом деле есть маленькие профессиональные секреты. Будем считать, что это секрет фирмы. Ты же знаешь: моя фирма на этом и держится.

Риклес улыбнулся чуть-чуть принужденно. Впрочем, это было совершенно естественно. Разве он готов был рассказать Хинкру абсолютно все? Конечно, нет.

Они проговорили еще немного. Старинные английские часы пробили одиннадцать. Риклес поднялся, чтобы ехать домой. Хинкр нажал кнопку, дверь медленно раскрылась. Оба телохранителя Риклеса, сидевшие в креслах, встали. Одного из них он знал уже в лицо и по имени: этот парень был в зале обмена в ресторане «Кло».

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Е. Парнов. О книге Андрея Аникина «Вторая жизнь»</i>	5
Смерть в Дрездене	8
Вторая жизнь	97
Друг, который мог быть	128
Ошибка Светония	163
Похищение	175

ИБ № 5447

Аникин Андрей Владимирович

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ

Заведующий редакцией **В. Щербаков**

Редактор **Т. Журавлева**

Художник **С. Любаев**

Художественный редактор **Б. Федотов**

Технический редактор **Н. Носова**

Корректоры **М. Пензякова, Н. Понкратова**

Сдано в набор 28.04.88. Подписано в печать 14.10.88. А12585.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага типографская № 2. Гарнитура
«Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 8,4. Усл. кр.-
отт. 8,75. Учетно-изд. л. 8,8. Тираж 100 000 экз. Цена 55 коп.
Изд. № 1192. Заказ 8—210.

Набрано и сматрицировано в типографии ордена Трудового
Красного Знамени издательско-полиграфического объединения
ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва,
Сушевская, 21.

Отпечатано на полиграфкомбинате ЦК ЛКСМ Украины «Мо-
лодь» ордена Трудового Красного Знамени издательско-поли-
графического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»:
252119, Киев-119, Пархоменко, 38—44.

ISBN 5-235-00607-0

55 коп.

МОЛОДОЯ ГВАРДИЯ

